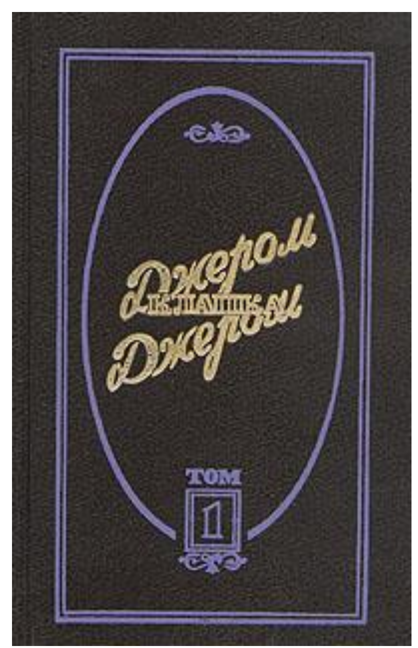
Джером К. Джером

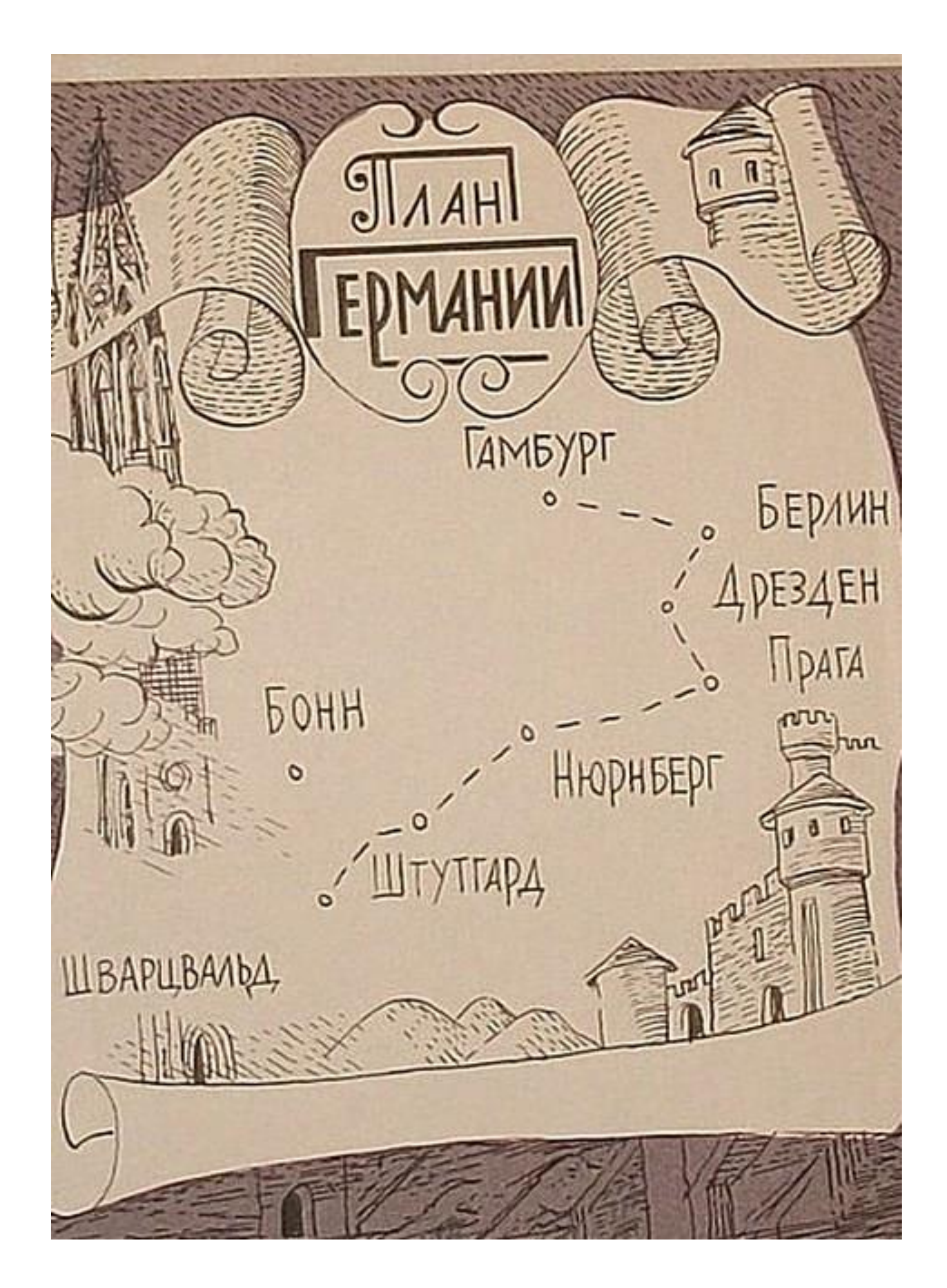
Трое на велосипедах





Jerome Klapka Jerome

1859, May 2nd, Walsall, Staffordshire, England — 1927, June 14th, Northampton, England



Глава I

Нам необходимо сменить обстановку. — История, служащая наглядным примером того, какие печальные последствия влечет за собой хитрость. — Малодушие Джорджа. — У Гарриса

рождаются идеи. — Повесть о Старом Моряке и Салаге-Яхтсмене. Хорошие парни. — Чем опасен ветер с берега. — Чем чреват ветер с моря. — Назойливость Этельберты. — Сырость на речных берегах. — Гаррис предлагает велопробег. — Джордж думает о ветре. — Гаррис предлагает Шварцвальд. — Джордж размышляет о тамошних горах. — План, предложенный Гаррисом для покорения вершин. — Вмешательство миссис Гаррис

— Сменить обстановку, — сказал Гаррис. — Без этого мы пропадем.

Тут открылась дверь, и на пороге появилась миссис Гаррис; оказалось, что ее послала Этельберта напомнить мне, что засиживаться нам нельзя, — дома остался Кларенс. Этельберта вечно расстраивается по пустякам, и дети ее частенько беспокоят. Ничего особенного с нашим ребенком не случилось. Просто утром они с тетушкой вышли погулять, и каждый раз, когда Кларенс останавливался у кондитерской и начинал со свойственным детям любопытством рассматривать выставленный на витрине товар, она немедленно волокла его к прилавку и пичкала пирожными и ромовыми бабами; наконец, это ему надоело, и он вежливо, но твердо заявил, что сыт сластями по горло. За завтраком Кларенс ограничился всего лишь одной порцией пудинга; этого и следовало ожидать, но Этельберта решила, что он чем-то заболел. От себя миссис Гаррис добавила, что если мы не поспешим в гостиную, то рискуем лишить себя удовольствия послушать, как Мюриэль будет изображать в лицах «Сумасшедшее чаепитие» из «Алисы в стране чудес». Мюриэль — второй ребенок Гарриса; ей восемь лет, но развита она не по годам. Однако такую серьезную литературу я предпочитаю изучать по первоисточникам. Мы сказали, что выкурим по последней и придем, а также просили без нас не начинать. Миссис Гаррис обещала, насколько возможно, попридержать творческий порыв своего чада и удалилась. Как только дверь закрылась, Гаррис продолжил прерванную мысль.

— Понятно, что речь идет, — сказал он, — о полной смене обстановки.

Проблема была в том, как этого добиться.

Джордж предложил «командировку». Это вполне в духе Джорджа. Он холостяк и не знает, что обвести замужнюю женщину вокруг пальца не так-то просто. У меня был один знакомый, молодой инженер. Как-то он решил съездить в Вену «по делам компании». Жена стала интересоваться, какие у компании могут быть «дела» в Вене. Он объяснил, что его посылают ознакомиться с шахтами, заложенными в окрестностях австрийской столицы, и представить соответствующий отчет. Жена сказала, что поедет с ним, — встречаются такие жены. Он принялся ее отговаривать: дескать, шахты — не самое подходящее место для хрупкой женщины. Она отвечала, что и без него это великолепно понимает и не собирается ползать по штрекам и забоям. Их жизнь в Вене виделась ей так: утром она спроваживает его на службу, а сама идет развлекаться — ей надо поискать кое-что в венских магазинах. Придумывать другой предлог было уже глупо, и отделаться от жены ему не удалось. Десять долгих летних дней он проползал по шахтам венской округи, а вечерами писал отчеты, которые она

собственноручно носила на почту, и его начальник в Лондоне с недоумением читал длинные письма своего подчиненного, которого он никуда не посылал.

Я не допускаю и мысли, что Этельберта или миссис Гаррис могут принадлежать к женам этой категории, не все же «командировкой» не следует злоупотреблять, лучше приберечь ее на крайний случай.

— Нет, — сказал я. — Лукавить здесь ни к чему. Я пойду напрямик. Этельберте я скажу, что не ценим мы свое семейное счастье. Я ей скажу: чтобы по-настоящему понять, что это такое — а я просто обязан понять, что это такое, — я решил оторвать себя от семьи, по крайней мере, на три недели. Я скажу ей, — тут я повернулся к Гаррису, — что это ты призвал меня исполнить этот мой долг, что, если бы не ты…

Гаррис засуетился и поставил стакан.

— Послушай, старик, — перебил он, — прошу тебя, не делай этого. Она передаст твои слова моей жене, и… э-э-э… будет как-то неловко выслушивать комплименты, которых не заслужил.

— Заслужил, заслужил, — убеждал я, — ты же первый предложил порастрястись немного.

— Да, но идея-то исходит от тебя, — не дал договорить мне Гаррис. — Кто сказал, что, погружаясь в унылое однообразие повседневной жизни, мы совершаем непростительную ошибку, а домашний уют разжижает мозги? Не ты ли?

— Я говорил о людях вообще, — пояснил я.

— А мне показалось, что ты имел в виду именно нас, — сказал Гаррис. — Я уже было подумал, не обсудить ли эту мысль с Кларой, естественно, сославшись на тебя; она полагает, что ты очень умный. Уверен, что стоит мне…

— Не стоит рисковать, — в свою очередь, перебил его я. — Дело это деликатное, но есть один выход. Скажем-ка, что всю кашу заварил Джордж.

Я бы не сказал, что Джордж из тех, кто, не раздумывая, устремляется вам на помощь, и этот его недостаток порой раздражает. Вы, наверное, подумали, что он с радостью ухватился за редкую возможность помочь двум старым друзьям решить мудреную задачу? Не на такого напали.

— Валяйте, говорите, — сказал Джордж, — но и я им скажу: с самого начала я ратовал за семейный отдых; вы берете детей, я беру тетю, и мы снимаем прелестный хуторок где-нибудь в Нормандии, на морском берегу, — климат там особо благотворно действует на неокрепший детский организм, а молоко такое, какого в Англии ни за какие деньги не достанешь. И не буду скрывать, что вы с негодованием отвергли мое предложение, уверяя, что одним нам будет веселее.

Люди вроде Джорджа тонкого обхождения не понимают. С ними нельзя церемониться.

— Ладно, — сказал Гаррис. — Твое предложение принимается, лично я — за. Снимаем хуторок. Ты привозишь тетю — я сам об этом позабочусь, — и так живем целый месяц. Дети тебя обожают — мы с Джей для них ноль без палочки. Эдгару ты обещал показать, как надо ловить рыбу; а как похоже ты умеешь представлять диких зверей! Дик с Мюриэль всю неделю только о том и говорили, как ты в воскресенье ревел гиппопотамом. Днем — все на пикник в лес, будет-то нас всего одиннадцать человек, а по вечерам — музицирование и декламация. Мюриэль — ты уже, наверное, наслышан — разучила с полдюжины стишков, да и другие детишки от нее не отстанут.

Джордж сдался — настоящей смелости в нем никогда не было, — но признать себя побежденным согласился не сразу. Он заявил, что это удар ниже пояса, и что раз уж мы такие подлые, трусливые, лживые и коварные типы, то он умывает руки, и что если я не собираюсь в одиночку осушить всю бутылку кларета, то он покорнейше просит налить и ему стаканчик. И тут же добавил, вне всякой связи с предыдущим, что на все это ему наплевать и он уверен,

что и Этельберта, и миссис Гаррис — с их умом и проницательностью — ценят его высоко и нам ни за что не удастся убедить их, что он мог предложить такую ересь.

Разделавшись с Джорджем, мы перешли к вопросу, на что бы нам сменить привычную обстановку.

Гаррис, по своему обыкновению, ратовал за море. Он сказал, что есть у него на примете одна яхта, именно то, что нам требуется управлять ею будем сами, обойдемся без лодырей, которые только и знают, что торчать на палубе, а ты им еще и плати. Какая уж тут романтика! А вот дайте Гаррису в подручные толкового юнгу — и он сам поведет судно. Беда в том, что мы эту яхту знали! (о чем ему и поведали). Как-то Гаррису удалось заманить нас туда. Яхта пахла затхлой водой и водорослями; этот букет заглушал все другие ароматы; обычный морской воздух в подметки ему не годился — пахло, как на грязевом курорте. Спрятаться от дождя негде: кают-компания — десять футов на четыре, причем половину площади занимает плита, которая при попытке подбросить уголька разваливается на куски. Ванну приходится принимать на палубе, и стоит тебе вылезти из лохани, как ветер тут же сдувает полотенце за борт. Всю интересную работу делали Гаррис и юнга: они бросали лаг, ставили рифы, отдавали швартовы, вставали к повороту; на нашу же долю выпало чистить картошку и драить палубу.

— Ну, раз не хотите, — сказал Гаррис, — давайте наймем другую яхту — со шкипером, командой и всеми причиндалами.

На это я никогда не пойду. Знаем мы этого шкипера: в его представлении отправиться на морскую прогулку значит лечь в дрейф, как они говорят, «в виду берега», причем того берега, где остались его жена, дети, любимая пивная, разлучаться с которыми он и не собирается.

Мне самому довелось нанимать яхту. Было это давным-давно, на заре нашей супружеской жизни. Стечение трех роковых обстоятельств толкнуло меня на эту глупость: нежданно-негаданно я получил кучу денег; Этельберта стала жаловаться, что соскучилась по морскому воздуху; в то злополучное утро, совершенно случайно, читая в клубе свежий номер «Спортсмена», я наткнулся на объявление:

«Для любителей парусного спорта. Уникальная возможность. «Гончая», 28-тонный ял. В связи со срочным отъездом сдается на любой срок быстроходная яхта с великолепной оснасткой. Две каюты и салон; пианино фирмы «Воффенкопф»; новое прачечное оборудование. Условия: десять гиней в неделю. Обращаться по адресу: Пертви и К°, д. 3а, Баклсбери».

Все складывалось как нельзя лучше. «Новое прачечное оборудование» меня мало волновало, со стиркой можно подождать. Но «пианино фирмы Воффенкопф» звучало заманчиво. Я представил себе летний вечер, уютный салон, Этельберту, сидящую за инструментом; вот она берет первые аккорды — и тут вступает хор матросов (предварительно порепетировав); а наша яхта мчится на всех парусах в родной порт.

Я сел в кеб и поехал прямо в Баклсбери, д. 3а. В мистере Пертви не было ничего примечательного; скромная контора помешалась на четвертом этаже. Мистер Пертви показал мне цветную акварель, на которой была изображена «Гончая», обгоняющая ветер. Палуба вздымалась под углом девяносто пять градусов. Людей на палубе не было, они, должно быть, попадали за борт. И действительно, трудно было понять, как матросы могли держаться на ногах, не приколотив себя к палубе.

Я поделился своими соображениями на этот счет с хозяином, но он мне объяснил, что на картине изображено, как «Гончая» обходит кого-то там на повороте — факт, как известно, имевший место на гонках в Медуэйе. Мистер Пертви был настолько уверен в том, что все подробности той регаты мне досконально известны, что я постеснялся задавать вопросы. Два цветных пятнышка у рамки, которые я по наивности принял за бабочек, оказались, как выяснилось, вторым и третьим призерами престижных гонок. Фотография яхты, стоящей на якоре близ Грейвсэнда, производила меньшее впечатление, зато яхта на ней казалась более

устойчивой. Удовлетворившись ответами на все мои вопросы, я нанял яхту на две недели. Оказалось, мне крайне повезло, что яхта требуется только на две недели (позднее я понял, что это действительно так): эти сроки устраивали другого нанимателя. Потребуйся яхта мне на три недели, мистеру Пертви пришлось бы отказать.

Когда мы договорились об условиях найма, мистер Пертви поинтересовался, нет ли у меня на примете шкипера. Я сказал, что нет, и оказалось, что мне опять страшно повезло (похоже, счастье само шло мне в руки в тот день): мистер Пертви был уверен, что вряд ли мне удастся найти шкипера лучшего, чем м-р Гойлиз, на чье попечение оставлена яхта. Это отличный моряк, — заверил меня мистер Пертви, — море он знает как свои пять пальцев и никогда понапрасну не рискует.

Времени было еще немного, а яхта стояла в Харвидже. Я сел на поезд в десять сорок пять и примерно в час стоял уже на борту яхты и беседовал с м-ром Гойлизом. Во всех чертах этого толстяка сквозила какая-то отеческая заботливость. Я рассказал ему о своих планах: мы проходим Голландские острова и идем на Норвегию. Он ответил: «Есть, сэр!» — и, как мне показалось, с энтузиазмом воспринял это предложение; он сказал, что такое плавание придется ему по душе. Стали решать продовольственную проблему, и энтузиазм его вспыхнул с новой силой. Однако раскладка, предложенная м-ром Гойлизом, меня, признаться, несколько смутила. Живи мы во времена Дрейка и Испанских морей, я бы заподозрил, что затевается бунт и захват корабля. Но его добродушный смех рассеял мои опасения. Лишку, заверил он меня, не будет; если что и останется, то парни поделят между собой и возьмут домой — есть, кажется, такой морской закон. Мне показалось, что «лишку» хватит команде на зиму, но, не желая показаться скаредным, я промолчал. Количество спиртного потрясло меня в не меньшей степени. Я прикинул, сколько нам потребуется самим, и назвал цифру; затем м-р Гойлиз выступил от имени команды. К чести его замечу, что о своих людях он заботился.

— Пьянства, мистер Гойлиз, я не допущу, — сказал я.

— Пьянства? — удивился м-р Гойлиз. — Да какое это пьянство, если моряк плеснет себе в чай малость рому?

Он объяснил, что его девиз — «Набери хорошую команду и обращайся с людьми по-человечески».

— Они будут лучше работать, — сказал м-р Гойлиз, — и они к вам вернутся.

Мне не хотелось, чтобы они возвращались. Еще не видя, я возненавидел их: они рисовались мне обжорами и пьяницами. Но м-р Гойлиз говорил так убедительно, а я был так неопытен, что и тут я пошел у него на поводу. Он заверил меня, что лично проследит, чтобы по этой статье остатков не оказалось.

Набором команды м-р Гойлиз решил заняться самолично. Пара матросов и юнга — больше нам не потребуется. Команда с делом управится. Если речь шла об уничтожении запасов еды и спиртного, то, по-моему, он несколько преувеличивал возможности человека, но, кто знает, может, имелось в виду управление яхтой.

По пути домой я заскочил к портному и заказал спортивный костюм, который мне пообещали сшить срочно, а затем поехал к Этельберте и поведал обо всем, что успел натворить. Восторг ее был беспределен, и беспокоило лишь одно: успеет ли портниха сшить ей новое платье. Ох уж эти женщины!

Мы недавно вернулись из свадебного путешествия, но оно было непродолжительным, и мы решили никого не приглашать, а провести время на яхте вдвоем. И слава Богу, что так решили.

В понедельник мы выехали. Костюмы были готовы в срок. Не помню, в чем была Этельберта, но выглядела она очаровательно. На мне был темно-синий костюм, отороченный белой тесьмой, что, как мне кажется, весьма эффектно.

М-р Гойлиз встретил нас на палубе и отрапортовал, что обед готов. Должен заметить, что с обязанностями кока он справлялся великолепно. Оценить по достоинству сноровку других членов команды мне так и не удалось — в деле я их не видел, — но, когда у меня хорошее настроение, я уклончиво говорю, что это были славные ребята.

День я планировал так: как только команда отобедает, мы поднимаем якорь; я закуриваю сигару, мы с Этельбертой облокачиваемся о фальшборт и смотрим, как белые скалы отчизны милой медленно исчезают за горизонтом. Свою часть программы мы с Этельбертой выполнили и стали ждать. Поднять якорь никто не спешил.

— Что-то они долго копаются, — заметила Этельберта.

— За четырнадцать дней, — сказал я, — им необходимо прикончить хотя бы половину всех припасов. Естественно, обед у них затянулся. Но лучше их не торопить, а то они не осилят и четверти.

— Скорее всего, они пошли спать, — сказала Этельберта немного погодя. — Уже пора пить чай.

Они определенно не спешили. Я прошел на ют и позвал м-ра Гойлиза. Кричать пришлось трижды, и лишь после этого он чинно поднялся на палубу. За то время, как мы не виделись, он как-то погрузнел и обрюзг. В зубах он сжимал окурок сигары.

— Доложите, когда вы будете готовы, капитан Гойлиз, — сказал я. — Мы выходим в море.

Капитан Гойлиз вынул изо рта окурок.

— С вашего позволения, сэр, — ответил он, — сегодня ничего не выйдет.

— Почему? Чем вам не нравится сегодняшний день? — удивился я.

Как известно, моряки — народ суеверный, а понедельник — день тяжелый.

— День как день, сэр, — ответил капитан Гойлиз. — Да вот ветер мне не нравится. Не похоже, что он переменится.

— Как? — удивился я. — Разве нам нужен другой ветер? По-моему, он дует как раз туда, куда нам надо.

— Вот-вот, — сказал капитан Гойлиз. — Это вы правильно выразились: «куда нам надо». Все мы там будем, но спешить не надо. А если мы выйдем в море при таком ветре, то там и будем. Понимаете, сэр, — объяснил он, заметив мое недоумение, — это, по-нашему, «береговой ветер», то есть дует он вроде как бы с берега.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что он прав: ветер и в самом деле дул с берега.

— Может, к утру он и переменится, — утешил меня капитан Гойлиз. — В любом случае ветер не сильный, а якорь у нас крепкий.

Капитан водрузил окурок на прежнее место, а я пошел к Этельберте и объяснил ей, почему мы стоим. Восторг Этельберты за то время, что мы пробыли на борту яла, слегка поостыл, и она захотела узнать, что мешает нам выйти в море при ветре с берега.

— Если ветер дует с берега, то он будет гнать яхту в море, — сказала Этельберта. — Если же ветер будет дуть с моря, он отгонит нас к берегу. По-моему, дует как раз тот ветер, который нам нужен.

Я стал объяснять:

— Ты ничего не понимаешь, дорогая моя. На первый взгляд, это тот ветер, а на самом деле — не тот. Это, по-нашему, по-морскому, — береговой ветер, а нет ничего опаснее берегового ветра.

Этельберте захотелось узнать, чем опасен береговой ветер.

Ее занудство начинало раздражать, кажется, я даже повысил голос — однообразные покачивания яхты, стоящей на приколе, любого доведут до белого каления.

— Объяснять это слишком долго, — ответил я (мне и жизни бы не хватило — я и сам ничего не понимал), — но пускаться в плавание, когда дует такой ветер, — верх беспечности, а я слишком тебя люблю, дорогая, чтобы подвергать твою жизнь бессмысленному риску.

По-моему, я довольно ловко вывернулся, но, прекратив допрос, Этельберта заявила, что раз так, то до завтрашнего дня на палубе делать нечего, и мы спустились в каюту.

Я поднялся ни свет ни заря; ветер задул с севера, на что я и обратил внимание капитана Гойлиза.

— Вот-вот, — сокрушенно сказал он. — В том-то и беда, и ничего тут не поделаешь.

— Так, по-вашему, сегодня нам выйти тоже не удастся? — взорвался я.

Но он не обиделся, а лишь рассмеялся.

— Ну вы даете, сэр! — сказал он, — Коли вам надо в Инсвич, то ветерок что надо, но мы же идем к Голландии. Тут уж ничего не попишешь.

Я довел эту скорбную весть до сведения Этельберты, и мы решили провести день на берегу. Нельзя сказать, чтобы в Хардвидже жизнь била ключом, а вечером там просто некуда пойти. Мы перекусили в трактире и вернулись в бухту, где битый час прождали капитана Гойлиза. Наконец он явился. Капитан Гойлиз был очень оживлен (в отличие от нас), и я уж было решил, что он попросту пьян, но он заверил нас, что спиртного на дух не переносит, разве что стаканчик горячего грога на сон грядущий.

За ночь ветер переменился на южный, что вызвало новые опасения капитана Гойлиза: оказывается, мы одинаково рискуем и стоя на якоре, и пытаясь выйти в море остается лишь уповать, что ветер переменится, прежде чем успеет что-нибудь натворить. Этельберта уже невзлюбила яхту; она сказала, что с куда большим удовольствием провела бы неделю в купальной кабинке — ту, по крайней мере, не болтает.

В Хардвидже мы провели весь следующий день и всю следующую ночь и еще один день: ветер не менялся. Ночевали мы в «Голове короля». В пятницу задул восточный ветер. Я пошел в гавань, разыскал капитана Гойлиза и предложил ему, в силу благоприятно сложившихся обстоятельств, немедленно выбирать якорь и ставить паруса. Похоже, моя категоричность его рассердила.

— Сразу видно, сэр, что вы в нашем деле не разбираетесь, — сказал он. — Как тут поставишь паруса? Ветер дует прямо с моря.

Я спросил:

— Капитан Гойлиз, признайтесь мне откровенно: что за штуку я нанял? Яхту или понтонный домик?

Вопрос его слегка озадачил.

— Это ял.

— Я вот что хочу узнать, — объяснил я. — Может ли эта лоханка ходить под парусом или она поставлена здесь на вечную стоянку? Если она стоит на мертвом якоре, то так и скажите, зачем же темнить? Мы разведем в ящиках плющ, пустим его вокруг иллюминаторов, на палубе посадим цветы, натянем тент, чтобы было поуютней. Если же, с другой стороны, она способна к перемещению…

— К перемещению! — взорвался капитан Гойлиз. — Да дайте мне нужный ветер, и «Гончая»…

Я поинтересовался:

— А какой вам нужен ветер?

Капитан Гойлиз почесал в затылке.

— На этой неделе, — продолжал я, — дул норд, зюйд, ост и вест во всех сочетаниях. Если на розе ветров имеется еще какой-нибудь ветер, то не стесняйтесь и скажите мне, я готов

подождать. Если же такового нет и наш якорь еще не прирос ко дну, то давайте сегодня же его поднимем и посмотрим, чем это кончится.

Он понял, что на этот раз я от него не отстану.

— Есть, сэр! — сказал он. — Дело хозяйское, мне что скажут, то я и делаю. У меня, слава Богу, лишь один несовершеннолетний сын. Надеюсь, ваши наследники уж что-нибудь сделают для бедной вдовы.

Его похоронная торжественность произвела впечатление.

— М-р Гойлиз, — сказал я, — вы можете быть со мной откровенны. Могу ли я надеяться, что наступит такая погода, когда мы сможем выбраться из этой чертовой дыры?

Капитан Гойлиз вновь повеселел.

— Видите ли, сэр, — сказал он, — это берег хитрый! Если нам удастся выйти в море, то все пойдет как по маслу, но отчалить в такой скорлупке, как наша, — это доложу я вам, сэр, работенка не из легких.

Я расстался с капитаном Гойлизом, взяв с него слове не спускать глаз с погоды, как мать со спящего младенца, это сравнение принадлежит лично ему, и меня оно расстрогало. В двенадцать часов я увидел его еще раз — он занимался метеорологическими наблюдениями, выглядывая из окна трактира «Якоря и цепи».

Но в пять вечера того же дня мне нежданно-негаданно улыбнулась удача: на главной улице я встретил двух своих приятелей-яхтсменов; у них полетел руль, и пришлось зайти в Хардвидж. Моя печальная история их не столько огорчила, сколько обрадовала.

Капитан Гойлиз с командой все еще следили за погодой. Я помчался в «Голову короля» за Этельбертой. Вчетвером мы прокрались в гавань, где стояла наша посудина. На борту, кроме юнги, никого не было; мои приятели встали по местам, и в шесть часов вечера мы уже весело мчались вдоль берега.

Переночевали мы в Олдборо, а на следующий день были уже у Ярмуте. Тут нам пришлось расстаться: им надо было ехать — и я решил отказаться от яхты. Ранним утром на пляже мы пустили с молотка всю провизию. Я понес убытки, но мысль, что удалось насолить капитану Гойлизу, утешала. Я оставил «Гончую» на попечение какого-то местного морехода, который взялся за пару соверенов доставить ее в Хардвидж. Кто знает, может, и бывают яхты не такие, как «Гончая», может, и встречаются шкиперы, не похожие на мистера Гойлиза, но тот печальный опыт породил у меня стойкое отвращение как к первым, так и к последним.

Джордж также считал, что с яхтами много возни. Предложение Гарриса не прошло.

— А что если спуститься по Темзе? — сказал Гаррис. — Когда-то мы славно провели там время.

Джордж молча затянулся сигарой; я расколол еще один орех.

— Темза уже не та, что в былые времена, — сказал я, не знаю, в чем дело, но что-то явно не так, какая-то сырость; у меня начинается кашель.

— Да и со мной творится что-то неладное, — подхватил Джордж. — Не могу спать у реки, хоть убей. Весной я целую неделю жил у Джо, так каждую ночь просыпался в семь, и дальше сон уже не шел.

— Оставим и это предложение без последствий, — продолжил Гаррис. — Мне река тоже не по душе — разыгрывается подагра.

— Мне полезен горный воздух, — сказал я. — Как насчет похода по Шотландии?

— В Шотландии сыро, — сказал Джордж. — В позапрошлом году я был в Шотландии три недели и три недели не просыхал… не в том смысле, конечно.

— Хорошо бы съездить в Швейцарию, — предложил Гаррис.

— И не мечтай. Одних нас в Швейцарию ни за что не отпустят, — остудил его я. — Помните, как вышло в прошлый раз? Нам нужно найти такие условия, в которых чахнут нежные женские и детские организмы, найти такую страну, где дороги плохи, а гостиницы отвратительны, где нет никаких удобств и нужно работать ногами. Возможно, придется и голодать…

— Полегче на поворотах! — закричал Джордж. — Полегче! Не забывайте, я ведь тоже еду.

— Идея! — воскликнул Гаррис. — Велопробег! Путешествие на велосипедах!

Лицо Джорджа выражало колебания.

— Когда едешь на велосипеде, то дорога всегда идет в гору, — сказал он. — И ветер дует в лицо.

— Но бывают и спуски, и попутный ветер, — сказал Гаррис.

— Что-то я этого не замечал, — возразил Джордж.

— Лучше велосипеда ничего не придумаешь, — убеждал Гаррис.

Я был склонен разделить его восторги.

— И я вам скажу, куда мы отправимся, — продолжал он, — в Шварцвальд.

— Но это же сплошной подъем! — воскликнул Джордж.

— Не совсем, — возразил Гаррис, — скажем, на две трети. И вы забываете об одном.

Он опасливо огляделся и зашептал.

— В горы проложена железная колея, а по ней ходят такие вагончики с зубчатыми колесиками…

Тут отворилась дверь и появилась миссис Гаррис. Она сказала, что Этельберта уже надевает шляпку, а Мюриэль, так нас и не дождавшись, представила публике «Сумасшедшее чаепитие».

— Клуб, завтра, четыре, — прошипел мне на ухо Гаррис, я передал информацию Джорджу, и мы пошли наверх.

Глава II

Деликатное дело. — Что могла бы сказать Этельберта. — Что она сказала. — Что сказала миссис Гаррис. — Что мы сказали Джорджу. — Выезд назначен на среду. — Джордж предоставляет нам возможность расширить кругозор. — Наши с Гаррисам сомнения. — Кто на тандеме работает больше? — Мнение на этот счет сидящего спереди. — Что думает сидящий сзади. — Как Гаррис потерял свою жену. — Вопрос о багаже. — Премудрость покойного дядюшки Поджера. — Начало истории о человеке с сумкой

С Этельбертой я решил объясниться в тот же вечер. Для начала я сделаю вид, что неважно себя чувствую. Суть в том, что Этельберта это должна заметить. Я с ней соглашусь и объясню все переутомлением. Затем я непринужденно переведу разговор на состояние моего здоровья в целом: станет очевидной необходимость принять энергичные и безотлагательные меры. Я даже полагал возможным, проявив известный такт, повернуть дело так, что Этельберта сама предложит мне съездить куда-нибудь. Я представлял, как она говорит: «Нет, дорогой, тебе необходимо переменить обстановку. Не спорь со мной, тебе надо уехать куда-нибудь на месяц. Нет, и не проси, с тобой я не поеду. Тебе нужно побыть с другими людьми. Попробуй уговорить Джорджа и Гарриса — может, они согласятся поехать с тобой. Поверь мне, при твоей работе отдых просто необходим. Постарайся на время забыть, что детям нужны уроки музыки, ботинки, велосипеды, настойка ревеня три раза в день. Постарайся не думать, что на свете есть кухарки, обойщики, соседские собаки и счета от мясника. Есть еще на свете потаенные уголки, где все ново и незнакомо, где твой утомленный мозг обретет покой, где тебя осенят новые мысли. Поезжай туда, а я за это время успею соскучиться по тебе, по достоинству оценю твою доброту и преданность, а то я начинаю забывать о них — ведь человек, привыкая, перестает замечать сияние солнца и красоту луны. Поезжай и возвращайся отдохнувшим душой и телом, еще лучшим и умнее, чем сейчас».

Но даже если наши желания и сбываются, то подается это совсем под другим соусом. С самого начала все пошло прахом: Этельберта не заметила, что я неважно себя чувствую; пришлось обратить на это ее внимание.

— Извини, дорогая, мне что-то нездоровится.

— Да? А я ничего и не заметила. Что с тобой?

— Сам не знаю, — ответил я. — Боюсь, это надолго.

— Это все виски, — решила Этельберта. — Ты обычно не пьешь, только у Гаррисов. От виски тебе всегда плохо.

— Виски тут ни при чем, — заметил я. — Надо смотреть глубже. По-моему, мой недуг скорее душевный, чем телесный.

— Ты опять начитался критических статей, — сказала Этельберта. — Почему бы тебе не послушать моего совета и бросить их в огонь?

— И статьи здесь ни при чем. За последнее время мне попалась пара весьма лестных отзывов.

— Так в чем же дело? — спросила Этельберта. — Ведь должна же быть какая-то причина!

— Нет, — ответил я, — в том-то все и дело, что причины нет. Одно лишь могу сказать: в последнее время мною овладело странное чувство беспокойства. — Этельберта посмотрела на меня с любопытством, но ничего не сказала, и я продолжил: — Это утомительное однообразие жизни, эта сплошная череда тихих, безоблачных дней способны вселить беспокойство в кого угодно.

— Нашел, на что жаловаться, — сказала Этельберта. — Кто знает, наступят пасмурные дни, и не думаю, что они придутся нам по душе.

— А я в этом не так уж и уверен, — ответил я. — В жизни, наполненной одними лишь радостями, даже боль, представь себе, может явиться желанным разнообразием. Я иногда задумываюсь, не считают ли святые в раю полнейшую безмятежность своего существования тяжким бременем. По мне, вечное блаженство, не прерываемое ни одной контрастной нотой, способно свести с ума. Возможно, я странный человек, порой я сам себя с трудом понимаю. Бывают моменты, — добавил я, — когда я себя ненавижу.

Частенько такой маленький монолог, заключающий намек на некие тайны, скрытые в глубинах нашего сознания, трогает Этельберту, но сегодня, к моему удивлению, он не произвел на нее должного впечатления. Насчет жизни в раю она посоветовала мне не волноваться,

заметив, что это мне не грозит; то, что я — человек странный, всем известно, тут уж ничего не поделаешь, и если другие меня терпят, то нечего и расстраиваться. От однообразия жизни, добавила она, страдают все, тут она со мною согласна.

— Ты даже представить себе не можешь, как иногда хочется, — сказала Этельберта, — уехать куда-нибудь, бросив все, даже тебя. Но я знаю, что это невозможно, так что всерьез об этом и не задумываюсь.

До этого я никогда не слышал, чтобы Этельберта разговаривала в таком тоне. Это меня озадачило и безмерно опечалило.

— С твоей стороны очень жестоко говорить мне такие слова. Хорошие жены так не думают.

— Я знаю, — ответила она, — поэтому раньше и не говорила. Вам, мужчинам, этого не понять, — продолжала Этельберта. — Как бы женщина ни любила мужчину, порой он ее утомляет. Ты даже представить себе не можешь, как иногда хочется надеть шляпку и пойти куда-нибудь, и чтобы никто тебя не спрашивал, куда ты идешь и зачем, как долго тебя не будет и когда ты вернешься. Ты даже представить себе не можешь, как мне иногда хочется заказать обед, который понравился бы мне и детям, но при виде которого ты нахлобучил бы шляпу и отправился в клуб. Ты даже представить себе не можешь, как мне иногда хочется пригласить подругу, которую я люблю, а ты терпеть не можешь; встречаться с людьми, с которыми я хочу встречаться, ложиться спать, когда клонит в сон, и вставать, когда захочется. Два человека, живущие вместе, вынуждены приносить в жертву друг другу свои желания. Надо все же иногда расслабляться.

Теперь, хорошенько обдумав слова Этельберты, я понимаю, насколько они мудры, но тогда, признаться, они меня возмутили.

— Если ты желаешь избавиться от меня…

— Не петушись, — сказала Этельберта. — Я хочу избавиться от тебя всего лишь на несколько недель. За это время я успею забыть, что в тебе есть два-три острых угла, и вспомню, что в остальном ты очень милый, и буду с нетерпением ждать твоего возвращения, как, бывало, ждала тебя раньше, когда мы виделись не так часто. А теперь я перестаю замечать тебя — ведь перестают же замечать сияние солнца, и всего лишь потому, что видят его каждый день.

Тон, взятый Этельбертой, мне не понравился. Проникнуть в суть вещей она не может, и не ей рассуждать на столь деликатную тему, как эта. То, что женщина с вожделением предвкушает трех-четырехнедельное отсутствие мужа, показалось мне ненормальным: хорошие жены об этом не мечтают. На Этельберту это было не похоже. Мне стало не по себе; я понял, что никакой поездки мне не надо. Если бы не Джордж и Гаррис, я бы от нее отказался. Но так как мы уже договорились, то отступать было некуда.

— Отлично, Этельберта, — ответил я, — будь по-твоему. Если хочешь отдохнуть от меня, отдыхай на здоровье. Боюсь показаться чересчур навязчивым, но, как муж, все же осмелюсь полюбопытствовать: что ты собираешься делать в мое отсутствие?

— Мы хотим снять домик в Фолькстоне, — сообщила Этельберта, — мы едем туда вместе с Кейт. И если ты хочешь удружить Кларе Гаррис, — добавила она, — уговори Гарриса поехать с тобой, и тогда к нам присоединится Клара. Когда-то — вас еще мы не знали — мы славно проводили время втроем и теперь с радостью вспомним былые денечки. Как по-твоему, — продолжала Этельберта, — тебе удастся уговорить Гарриса?

Я сказал, что постараюсь.

— Золотко ты мое, — добавила Этельберта. — Постарайся как следует. Можете взять с собой Джорджа.

Я ответил, что брать с собой Джорджа нет никакого резона, намекая на то, что Джордж холостяк и ничью жизнь не портит. Но женщины иносказаний не понимают. Этельберта лишь заметила, что бросить Джорджа одного было бы жестоко. Я пообещал передать это ему.

Днем в клубе я встретил Гарриса и спросил, как у него дела.

— А, все в порядке, меня отпустили, — ответил он. Но, судя по тону, было не похоже, что это приводило его в восторг.

Я стал вытягивать из него подробности.

— Все шло как по маслу, — продолжал он. — Она сказала, что Джордж хорошо придумал и мне это пойдет на пользу.

— По-моему, все в порядке, — сказал я. — Что же тебе не нравится?

— Все было в порядке, но на этом дело не кончилось. Затем разговор зашел о другом.

— Понятно.

— Ей взбрело в голову установить в доме ванну, — продолжал он.

— Уже наслышан, — сказал я. — Эту же самую мысль она подсказала Этельберте.

— Что ж, мне пришлось согласиться: меня застали врасплох, и я не мог спорить — ведь обо всем другом мы так мило договорились. Это обойдется мне не меньше ста фунтов.

— Неужели так дорого? — спросил я.

— Дешевле не выйдет, — ответил Гаррис, — сама ванна стоит шестьдесят фунтов.

Мне было больно слышать это.

— Потом еще кухонная плита. Во всех бедах, случившихся в доме за последние два года, виновата эта кухонная плита.

— Это мне знакомо. За годы совместной жизни мы сменили семь квартир, и все семь плит были одна хуже другой. Наша нынешняя — мало того, что ни на что не годится, еще и издевается. Она заранее знает, когда будут гости, и тогда на ней вообще ничего не приготовишь.

— А мы покупаем новую, — сказал Гаррис, но без всякой гордости. — Клара считает, что так мы сэкономим на ремонте. По-моему, если женщине вздумается купить бриллиантовую тиару, она объяснит, что таким образом экономит на шляпках.

— Во сколько, по-твоему, вам обойдется плита? — спросил я. Этот вопрос меня заинтересовал.

— Не знаю, — ответил Гаррис, — наверное, еще в двадцать фунтов. А потом речь зашла о пианино. Ты когда-нибудь замечал, чем одно пианино отличается от другого?

— Одни звучат громче других. Но к этому привыкаешь.

— В нашем первая октава никуда не годится, — сказал Гаррис. — Между прочим, что такое первая октава?

— Это справа, такие пронзительные клавиши, — пояснил я, — они орут, как будто им наступили на хвост. По ним колотят в конце всех попурри.

— Одного пианино им мало. Мне велено старое передвинуть в детскую, а новое поставить в гостиной.

— Что еще?

— Все, — сказал Гаррис. — На большее ее не хватило.

— Когда ты придешь домой, они придумают еще кое-что.

— Что? — сказал Гаррис.

— Домик в Фолькстоне, сроком на месяц.

— Зачем ей домик в Фолькстоне? — сказал Гаррис.

— Жить, — высказал предположение я. — Жить там летом.

— На лето она с детьми собиралась к родственникам в Уэльс; нас туда звали.

— Возможно, она съездит в Уэльс до того, как отправится в Фолькстон, а может, заедет в Уэльс на обратном пути, но, несомненно, ей захочется снять на лето домик в Фолькстоне. Возможно, я и ошибаюсь — вижу, что тебе этого хочется, — но есть у меня предчувствие, что я все-таки прав.

— Похоже, наша поездка нам дорого обойдется.

— Это была идиотская затея с самого начала.

— Мы были дураками, что послушались его. То ли еще будет!

— Вечно он что-нибудь выдумывает, — согласился я.

— Упрямый болван, — добавил Гаррис.

Тут мы услышали голос Джорджа в передней. Он спрашивал, нет ли ему писем.

— Лучше ему ничего не говорить, — предложил я. — Теперь уже поздно отступать.

— В этом нет никакого смысла, — ответил Гаррис. — Покупать ванну и пианино мне все равно придется, так или иначе.

Вошел Джордж. Он был в отличном настроении.

— Ну, — сказал он, — все в порядке? Удалось?

Что-то в его тоне мне не понравилось. Я заметил, что и Гарриса он возмутил.

— Что удалось? — сказал я.

— Ну, отпроситься, — уточнил Джордж.

Я понял, что настало самое время объяснить Джорджу, что к чему.

— В семейной жизни, — провозгласил я, — мужчина повелевает, женщина подчиняется. Это ее долг: жена да убоится мужа своего.

Джордж сложил руки и возвел очи горе.

— Мы можем зубоскалить и острить на эту тему, — продолжал я, — но, когда доходит до дела, получается вот что. Мы известили своих жен, что уезжаем. Естественно, они огорчились. Они были не прочь поехать с нами, но, поняв, что это невозможно, стали умолять нас не покидать их. Но мы разъяснили им, что думаем на этот счет, и — на этом все кончилось.

Джордж скептически хмыкнул:

— Простите меня, в этих вещах я не разбираюсь. Я всего лишь холостяк. Мне говорят одно, другое, третье, а я — слушаю.

— И поступаешь неверно. Если тебе будет нужно что-нибудь узнать, приходи ко мне или Гаррису, и мы предоставим тебе исчерпывающую информацию по вопросам этики семейной жизни.

Джордж нас поблагодарил, и мы сразу же перешли к делу.

— Когда мы выезжаем? — спросил Джордж.

— Мне кажется, — сказал Гаррис, — с этим не надо тянуть.

По-моему, он стремился уехать раньше, чем миссис Гаррис придумает еще что-нибудь. Мы остановились на следующей среде.

— Как насчет маршрута? — поинтересовался Гаррис.

— У меня есть идея, — сказал Джордж. — Я полагаю, что вы, друзья, естественно, горите желанием расширить свой кругозор.

Я заметил:

— Вообще-то, дальше его расширять нам уже некуда. Но, впрочем, если это не повлечет за собой излишних затрат и чрезмерных физических усилий, то мы не прочь.

— На этот счет можете быть спокойны, — сказал Джордж. — Мы повидали Голландию и Рейн. А теперь я предлагаю доехать на пароходе до Гамбурга, осмотреть Берлин и Дрезден, а затем отправиться в Шварцвальд через Нюрнберг и Штутгарт.

— Мне говорили, что есть прекрасные уголки в Месопотамии, — пробормотал Гаррис.

Джордж сказал, что Месопотамия уж слишком не по пути, но его маршрут вполне приемлем. К счастью ли, к несчастью, но он нас убедил.

— Средства передвижения, — сказал Джордж, — как договорились. Я и Гаррис на тандеме, Джей…

— Я не согласен, — решительно перебил Гаррис. — Ты и Джей на тандеме, а я — на одноместном.

— Мне все равно, — согласился Джордж. — Я и Джей на тандеме, Гаррис…

— Можно установить очередность, — перебил я, — но всю дорогу везти Джорджа я не намерен. Груз нужно распределить поровну.

— Ладно, — согласился Гаррис, — давай распределим. Но нужно решительно потребовать, чтобы он работал.

— Кто работал? — не понял Джордж.

— Ты работал, — объяснил ему Гаррис. — Во всяком случае, на подъеме.

— Боже праведный! — воскликнул Джордж. — Неужели вам не хочется слегка поразмяться?

Тандем — вещь неприятная. Человек, сидящий спереди, уверен, что сидящий сзади ничего не делает; той же точки зрения придерживается и сидящий сзади: единственная движущая сила — это он, а сидящий спереди попросту валяет дурака. Эта тайна так никогда и не раскроется. Чувствуешь себя неуютно, когда, с одной стороны, Благоразумие подсказывает тебе: «Не переусердствуй, твое сердце не выдержит такой нагрузки», а Справедливость нашептывает: «Почему ты все должен делать один? Это не кеб. Он не пассажир», — а твой напарник, в свою очередь, орет: «Эй, что случилось? Упустил педаль?»

Гаррис во время свадебного путешествия доставил сам себе массу хлопот, и все из-за того, что никак невозможно понять, чем занят твой напарник. Они с женой путешествовали на велосипеде по Голландии. Дороги там мостят булыжником, и машину основательно трясло.

— Пригнись, — сказал Гаррис, не поворачивая головы. Миссис Гаррис решила, что он сказал: «Прыгай!» Почему она решила, что он сказал: «Прыгай!», когда он сказал: «Пригнись!», никто из них объяснить не может.

Миссис Гаррис считает: «Если бы ты сказал «Пригнись!», с какой стати я бы стала прыгать?»

Гаррис считает: «Если бы я хотел, чтобы ты спрыгнула, с какой стати я бы сказал: «Пригнись!»»

Горечь тех дней прошла, но и сейчас они спорят по этому поводу.

Как бы то ни было, но факт остается фактом: миссис Гаррис спрыгнула, а Гаррис продолжал усиленно нажимать на педали, считая, что она все еще сидит сзади. Поначалу ей казалось, что он летит в гору лишь затем, чтобы показать, на что способен. Тогда они оба были молоды и он любил выкидывать подобные фокусы. Она думала, что в конце подъема он спрыгнет на землю и, опершись на велосипед, приняв позу, полную небрежного изящества, станет поджидать ее. Когда же, увидев, что, преодолев подъем, он и не думает останавливаться, а напротив, поднажав на педали, мчится по длинному пологому спуску, она сначала удивилась, затем возмутилась и, наконец, испугалась. Она взбежала на горку и крикнула, но он даже не обернулся. Она видела, как он проехал по дороге мили с полторы, а затем исчез в лесу. Она села на дорогу и заплакала. Утром они немного повздорили из-за какого-то пустяка, и она стала думать, не воспринял ли он ссору всерьез и не решил ли ее

бросить. Денег у нее не было, голландского она не знала. Подошли люди, стали ее жалеть. Она попыталась объяснить им, что случилось. Они поняли, что она что-то потеряла, но что именно — взять в толк не могли. Ее проводили до ближайшей деревни и там нашли полицейского. Из ее пантомимы он заключил, что какой-то мужчина украл у нее велосипед. Связались по телеграфу с окрестными деревнями и в одной из них обнаружили несчастного мальчишку, ехавшего на дамском велосипеде допотопной конструкции. Мальчишку задержали и доставили к ней на телеге, но так как она не выказала ни малейшего интереса ни к нему, ни к его велосипеду, то мальчишку отпустили подобру-поздорову.

Тем временем Гаррис в отличном настроении продолжал свой путь. Ему показалось, что внезапно он стал сильнее и выносливее. Он сказал, обращаясь к воображаемой миссис Гаррис: «Никогда еще машина не казалась мне такой легкой. По-моему, это здешний воздух, он явно идет мне на пользу».

Затем он велел ей не бояться, а он покажет, на что способен. Он пригнулся к рулю и поднажал на педали. Велосипед полетел по дороге как птица. Фермеры и церкви, собаки и цыплята исчезали из виду, едва успев появиться. Старики с изумлением глядели на него, дети восторженно кричали вслед.

Так он промчался пять миль. Тут, как он объясняет, у него закралось подозрение, что что-то неладно. Молчаливость миссис Гаррис его не смущала: дул сильный ветер, да и машина порядком тарахтела. Он стал ощущать пустоту. Он протянул руку назад, но там никого не было. Он спрыгнул, а правильнее сказать, вылетел из седла и оглянулся на дорогу. Она тянулась, светлая и прямая, сквозь темный лес, и ни одной живой души на ней не было видно. Он вскочил в седло и помчался назад. Через десять минут он доехал до развилки — вместо одной дороги стало четыре. Он слез и стал вспоминать, по какой из них он сюда приехал.

Пока он так размышлял, мимо проехал человек верхом на лошади. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Человек не выразил ни удивления, ни сочувствия. Пока они беседовали, подошел другой крестьянин, которому первый объяснил, в чем дело, причем в его изложении выходил не несчастный случай, а забавный анекдот. Второго крестьянина больше всего удивило, что Гаррис поднимает шум по пустякам. Он ничего от них не добился, сел в седло и, проклиная своих собеседников, наудачу поехал по средней дороге. На середине подъема ему попалась веселая компания: две девицы и парень. Ему показалось, что они-то должны его понять. Он спросил, не встречалась ли им его жена. Они спросили, как она выглядит. Он недостаточно хорошо знал голландский, чтобы объяснить им толком. Он сказал, что это очень красивая женщина среднего роста — на большее его не хватило. Естественно, столь общее описание их не удовлетворило: этак каждый сможет присвоить себе чужую жену. Они спросили, как она была одета, — хоть убей, этого он не помнил.

Я сомневаюсь, что вообще есть мужчины, которые могут сказать, как была одета женщина, с которой они расстались десять минут назад. Он вспомнил, что на ней была синяя юбка и, кажется, что-то еще. Не исключено, что это была блузка: в памяти всплыли смутные очертания пояса. Но что за блузка? Зеленая, желтая, голубая? Был ли воротничок, или она завязывалась на бант? Что было на шляпке — перья или цветы? А была ли шляпка? Он не осмеливался сказать, боясь, что ошибется и его ушлют за много миль искать то, что он не терял. Девицы стали хихикать, что взбесило Гарриса, которому было не до смеха. Парень, чтобы отвязаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию. Гаррис отправился в ближайший город. В участке ему дали бумагу и велели в деталях описать внешность жены, а также указать, где, когда и при каких обстоятельствах она была утеряна. Где он ее потерял, Гаррис сказать не мог; единственное, что он мог сообщить, — это название деревни, где они обедали: там она была с ним, и выехали они, кажется, вместе.

Полиция стала что-то подозревать; они захотели уточнить следующее. Первое: действительно ли утерянная приходится ему женой; второе: действительно ли он ее утерял; третье: зачем он ее утерял. С помощью трактирщика, который немного говорил по-английски,

ему удалось отвести от себя подозрения. Они пообещали действовать и вечером доставили ее в крытом фургоне, приложив счет, подлежащий к оплате. Встреча не отличалась особой нежностью. Миссис Гаррис — плохая актриса, и ей стоит немалых трудов сдерживать свои чувства. В тот раз, как она честно призналась, она и не пыталась их сдерживать.

Покончив с транспортом, мы перешли к вопросу о багаже.

— Составим список, — сказал Джордж, приготовившись писать.

Я обучил их этой премудрости; меня же, в свою очередь, много лет назад обучил дядюшка Поджер.

— Всегда, прежде чем паковать веши, — говаривал дядюшка, — составь список.

Это был скрупулезный человек.

— Возьми лист бумаги, — он всегда начинал с самого начала, — и запиши все, что тебе может понадобиться; затем просмотри список еще раз и вычеркни все, без чего можно обойтись. Представь себе, что ты ложишься спать, — что тебе надо? Отлично, запиши и это, да не забудь, что белье придется менять. Ты встал — что ты делаешь? Умываешься. Чем? Мылом. Запиши мыло. Продолжай в том же духе. Затем переходи к одежде. Начни с ног. Что ты носишь на ногах? Ботинки, туфли, носки — запиши все это. И так, пока не дойдешь до головы. Что еще надо человеку кроме одежды? Немного бренди. Запиши и это. Штопор. Запиши и штопор, тогда не придется открывать бутылку зубами.

Сам он неукоснительно придерживался этого плана. Составив список, он внимательно его просматривал (как и советовал), чтобы убедиться, что ничего не забыл. Затем он снова просматривал его и вычеркивал то, без чего можно обойтись.

После этого он терял список.

Джордж сказал:

— Что может понадобиться на день-другой, возьмем собой на велосипеды. Тяжелые веши будем отправлять из города в город багажом.

— Тут следует быть осторожным, — предупредил я, — был у меня один знакомый…

Гаррис посмотрел на часы.

— Мы послушаем об этом на пароходе, — перебил он. — Через полчаса мне надо встретить Клару на вокзале Ватерлоо.

— Мой рассказ не займет и получаса, — возмутился я. — Это правдивая история, и я…

— Не забудь ее, — сказал Джордж. — Говорят, в Шварцвальде по вечерам бывают дожди, тогда ты нас и потешишь. А сейчас нам надо закончить список. Всякий раз, как я начинаю эту историю, меня кто-нибудь перебивает. А ведь она произошла на самом деле.

Глава III

Один недостаток Гарриса. — Гаррис и его ангел-хранитель. — Патентованная фара. — Идеальное седло. — Специалист по наладке велосипедов. — Его острый глаз. — Его самонадеянность. — Что ему надо от жизни. — Как он выглядит. — Как от него избавиться. — Джордж в роли пророка. — Высокое искусство грубить на иностранном

языке. — Джордж как исследователь глубин человеческой души. — Он предлагает эксперимент. — Он готов идти на риск. — Гаррис обещает подстраховать его на случай непредвиденных обстоятельств

В понедельник днем ко мне зашел Гаррис; в руке он мусолил рекламный проспект какой-то велосипедной фирмы.

Я сказал:

— Послушай меня и выбрось его из головы.

Гаррис удивился:

— Что выбросить?

— Патентованное, новейшее, производящее подлинный переворот в велосипедостроении, не имеющее себе равных приспособление для доверчивых дураков, рекламу которого ты держишь в руке, — как бы оно там ни называлось.

— Ну не скажи: на спуске без тормозов не обойтись, а спуски у нас будут.

— Согласен, тормоз нам не помешает; помешать нам может этот твой мудреный механизм, в устройстве которого никак не разобраться и который отказывает всякий раз, когда требуется, чтобы он включился.

— Эта штука срабатывает автоматически.

— Можно мне не объяснять. Сердцем чувствую, что выйдет из этого «автоматизма». На подъеме она намертво заклинит колесо, и придется тащить машину на себе. Горный воздух на перевале пойдет ей на пользу, и она вдруг придет в сознание. На спуске она задумается о том, что успела уже натворить дел. Ее начнут мучить угрызения совести; наконец она дойдет до полного отчаяния. Она скажет себе: «Какой из меня тормоз? Разве я помогаю этим ребятам? Им от меня одни хлопоты. Дрянь я, а не тормоз», — и без предупреждения вцепится в колесо. Вот что будет делать твой тормоз. Забудь о нем и думать. Парень ты ничего, — продолжил я, — но есть у тебя один недостаток.

— Какой такой недостаток? — негодующе спросил он.

— Твоя доверчивость, — ответил я. — Ты веришь всем рекламам. Все эти экспериментальные устройства, все эти штучки, до которых додумались безумные велосипедных дел мастера, ты испытал на своей шкуре. Нет сомнений, твой ангел-хранитель — дух могучий и заботливый, до сих пор он о тебе пекся; но послушай меня, всему есть предел, не стоит более искушать его. С тех пор как ты купил велосипед, дел у него поприбавилось. Утихомирься, не доводи его.

— Если бы все, — возразил он, — рассуждали, как ты, мир бы застыл на месте, прогресса бы не было. Если бы никто не испытывал изобретений, мы бы ходили в звериных шкурах. Лишь благодаря…

— Я знаю все, что ты собираешься мне возразить, — перебил я. — Я был согласен ставить над собой опыты, пока мне не стукнуло тридцать пять; но после тридцати пяти, как мне представляется, человек имеет право подумать и о себе. Мы свой долг перед человечеством выполнили, особенно ты. Кто подорвался на патентованной газовой фаре?

— Ты знаешь, тут я, скорее всего, сам виноват: по-моему, я уж слишком сильно затянул винты.

— Охотно верю. Если что-то можно завинтить не так, то ты это непременно сделаешь. Ты должен помнить об этой своей склонности. В нашем споре это веский довод в мою пользу. Я же не видел, что ты там с ней делал; я лишь знаю, что мы тихо-мирно ехали по Уитби-роуд, беседовали о Тридцатилетней войне, и вдруг твоя фара взорвалась, как будто из ружья пальнули. От неожиданности я свалился в канаву. Никогда не забуду лица миссис Гаррис, когда я говорил ей, что ничего страшного не произошло, волноваться не следует — тебя уже несут на носилках, а врач с сестрой будут с минуты на минуту.

— Жаль, что ты не подобрал фару. Хотелось бы разобраться, почему она так рванула.

— Некогда было ползать и собирать осколки. По моим подсчетам, ушло бы часа два, чтобы собрать все, что от фары осталось. Что же касается вопроса, почему она «рванула», то уже сам по себе тот факт, что она рекламировалась как самая безопасная, не имеющая аналогов в мировой практике фара, намекал любому — но только не тебе — о неизбежности аварии. А еще была электрическая фара, — продолжал я.

— Ну, та-то светила что надо, — ответил Гаррис. — Ты же сам говорил.

— Днем на Кингз-роуд в Брайтоне она светила прекрасно, даже лошадь испугалась. Когда же стемнело и мы выехали за Кемп-Таун, она погасла, и тебя вызывали в суд за езду без огней. Может, ты помнишь, как мы погожими летними днями любили кататься по городу. В светлое время суток она старалась изо всех сил. К наступлению же сумерек, когда полагается включать освещение, она, естественно, уставала и требовала отдыха.

— Да, она несколько раздражала, эта чертова фара, — пробормотал Гаррис. — Что было, то было.

— Раздражала она меня; для твоей реакции я выбрал бы более сильное слово. А потом пошли седла, — продолжал я: хотелось, чтобы он запомнил урок на всю жизнь. — Скажи мне, были ли такие седла, которых ты не испробовал?

— У меня есть заветная мечта, — признался он. — Подобрать седло, на котором удобно сидеть.

— И думать забудь: мир, в котором мы живем, далек от совершенства; здесь все перемешалось — и радость и горе. Кто знает, может быть, за морем лежит чудесная страна, где седла делают из радуги на облачной подушке; в нашем же мире проще привыкнуть к чему-нибудь жесткому. Взять хотя бы то седло, которое ты приобрел в Бирмингеме; то, что состояло из двух половинок и походило на пару говяжьих почек.

— Ты имеешь в виду то, в основу конструкции которого был положен анатомический принцип? — уточнил он.

— Наверное, — ответил я, — На коробке была нарисована часть скелета, который сидит, вернее, та часть скелета, которая сидит.

— Все верно; на схеме было показано правильное положение тела при…

— Не будем уточнять; картинка мне показалась несколько неприличной.

— С точки зрения медицины, все было правильно.

— Не знаю, — сказал я. — Седоку, у которого, кроме костей, ничего нет, оно, возможно, и подошло бы. Я испытал его сам и со всей ответственностью заявляю: для человека, у которого есть кожа и плоть, это медленная смерть. Как только наезжаешь на камень или попадаешь в ухаб, оно щиплет тебя; это все равно, что заниматься выездкой норовистого омара. А ты пользовался им целый месяц.

— Я считаю, что лишь так можно познать скрытые достоинства изобретения, — гордо заявил он.

— За этот месяц домашние тоже сумели познать твои скрытые, с позволения сказать, достоинства. Твоя жена жаловалась мне, что за всю вашу совместную жизнь не видела тебя таким злобным, вздорным, склочным, как в тот месяц. А помнишь то седло с пружиной?

— Ты имеешь в виду «Спираль»?

— Я имею в виду то, из которого ты вылетал, как чертик из табакерки; иногда ты падал назад в седло, а иногда и нет. Я не затем завел об этом речь, чтобы вызвать у тебя неприятные воспоминания, просто хочу предостеречь тебя от всякого рода экспериментов. В твои годы это уже опасно для жизни.

— Что ты затвердил как попугай: «В твои годы, в твои годы»? Мужчина тридцати четырех лет…

— Скольки-скольки лет?

— Если вам тормоза не нужны, что ж, дело ваше. Но когда вы с Джорджем, разогнавшись на спуске, залетите на колокольню, прошу меня не винить.

— За Джорджа я не ручаюсь, — сказал я, — он может вскипеть по самому ничтожному поводу. Если мы, как ты выразился, «залетим» на колокольню, то скорей всего он начнет ворчать; но я обещаю объяснить ему, что ты здесь ни при чем.

— Машина в порядке? — спросил Гаррис.

— Отличный тандем.

— Все отладил?

— Нет. И никакой отладки не допущу. Машина на ходу; и трогать ее до отъезда я не дам.

Знаем мы эти «отладки». Как-то в Фолькстоне на реке я познакомился с одним малым. Мы разговорились, и он предложил мне покататься на велосипедах. Я согласился. Утром я встал чуть свет, что далось мне нелегко, и стал ждать его в саду; он опоздал на полчаса. Утро было чудесное. Когда тот тип наконец-то появился, он тут же спросил:

— На вид машина неплохая. А как на ходу?

— Да как все, — добродушно ответил я. — Утром бежит хорошо, после обеда — похуже.

Вдруг он вцепился в переднее колесо и яростно встряхнул велосипед.

— Не надо с ним так, что-нибудь сломаете, — взмолился я.

Я не понимал, с какой это стати он так набросился на мой велосипед, ведь тот же не сделал ему ничего плохого. И вообще, даже если он и провинился, то наказывать его имел право только я. Я испытывал те же чувства, что и хозяин, у которого побили собаку.

— Переднее колесо люфтит, — заметил он.

— А вы не трясите, оно и не будет люфтить. — Ничего оно не люфтило; как люфтят колеса, мне хорошо известно.

— Это может плохо кончиться. Ключ у вас есть?

Мне следовало бы проявить твердость, но я почему-то решил, что он разбирается в этих вещах, и пошел в сарай за инструментом. Вернувшись, я застал его сидящим на земле. Зажав колесо между колен, он крутил его, пропуская через оттопыренные пальцы. Останки велосипеда валялись рядом на дорожке.

— С передним колесом что-то не в порядке.

— Да неужели?

Но такие люди иронии не понимают.

— По-моему, подшипник полетел.

— Не стоит беспокоиться, вы можете переутомиться. Давайте-ка поставим колесо на место — и поехали.

— Раз уж оно отвинтилось, то лучше сразу посмотреть, что в нем разладилось. — Он говорил так, будто колесо отвинтилось само собой.

Прежде чем я успел его остановить, он где-то что-то отвернул, и тьма шариков поскакала по дорожке.

— Лови их! — заорал он. — Держи их! Ни один не должен убежать. — Он начинал выходить из себя.

Мы проползали с полчаса и собрали шестнадцать штук. Будем надеяться, заявил он, что нам удалось отыскать все шарики; в противном случае машина будет работать куда хуже прежнего. Он сказал, что, когда отлаживаешь велосипед, самое главное — ничего не потерять; за шариками же нужен глаз да глаз. Когда разбираешь подшипник, объяснил он, шарики следует пересчитать, и когда собираешь — проверить, все ли они тут и на своем ли месте. Я заверил его, что если мне доведется отлаживать велосипед, то непременно последую его совету.

На всякий случай я сложил шарики в шляпу, а шляпу положил на крыльцо. Не скажу, что я поступил осмотрительно. Более того, я совершил глупость. Вообще-то, идиотом меня не назовешь, но дурной пример заразителен.

Затем он сказал, что раз уж пошло такое дело, то надо заодно посмотреть и цепь, и тут же стал снимать ведущую шестерню. Я попытался остановить его. Я передал ему слова одного моего многоопытного друга, который однажды торжественно провозгласил:

— Если у тебя полетела передача, продай машину и купи новую — так выйдет дешевле.

— Так рассуждают люди, ничего не понимающие в технике. Разобрать ведущий блок — сущая ерунда.

Тут он оказался прав, отдаю ему должное. Не прошло и пяти минут, как коробка передач была разобрана на части, а он ползал по дорожке в поисках винтиков. По его словам, для него всегда оставалось загадкой, куда деваются винтики.

Мы принялись искать винтики, и тут вышла Этельберта. Она несказанно удивилась, застав нас в саду, — по ее расчетам выходило, что мы выехали несколько часов назад.

Этот тип сказал:

— Скоро тронемся. Вот, решил помочь вашему мужу отладить машину. Хороший велосипед, только нужно кое-что подрегулировать.

Этельберта предупредила:

— Умываться ступайте на кухню. Я только что прибрала в комнатах.

Она сказала, что зайдет за Кейт, и если та дома, то они поедут кататься на яхте; но как бы то ни было, к обеду она вернется. Я готов был отдать соверен, лишь бы поехать с ними. Мне смертельно надоело стоять и смотреть, как этот болван калечит мою машину.

Внутренний голос нашептывал мне: «Останови его, пока он еще чего-нибудь не натворил. Ты вправе защищать свою собственность от посягательств безумца. Возьми его за шиворот и вышвырни за ворота! Никто тебе и слова не скажет!»

Но моя проклятая мягкотелость не позволяет мне оскорблять людей в их лучших чувствах — и он продолжал ковыряться.

Он махнул рукой на поиски недостающих винтиков. Винтики, по его словам, обладают удивительным свойством находиться тогда, когда про них забыл и думать. Собрав шестеренки и кое-как закрепив коробку передач, он принялся регулировать цепь. Сначала он натянул ее так, что колесо перестало крутиться, затем ослабил цепь так, что она провисла до земли. Потом он заявил, что лучше оставить цепь в покое, а вместо этого поставить на место переднее колесо.

Я раздвигал вилку, а он совал туда колесо. Через десять минут я предложил поменяться местами: пусть он подержит вилку, а я управлюсь с колесом. Еще через минуту велосипед упал, а он запрыгал вокруг площадки для крокета, зажав пальцы между колен. Совершая эти упражнения, он объяснял мне, что при установке колеса самое главное — следить, чтобы пальцы не зажало между вилкой и спицами. Я ответил, что не осмелюсь ему возражать, ибо по своему опыту знаю, что это такое. Он перевязал пальцы тряпками, и мы продолжали работу.

Наконец, колесо встало на место, но как только он затянул последнюю гайку, то тут же рассмеялся. Я спросил:

— Чему вы смеетесь?

— Ну и осел же я! — ответил он.

Такая самокритичность мне понравилась, и я поинтересовался, какие же конкретные факты позволили ему сделать такой вывод.

— Мы же забыли про шарики!

Я стал искать шляпу. Она валялась посреди дорожки, а любимый песик Этельберты жадно пожирал шарики.

— Ему пришел конец, — сказал Эббсон (с тех пор я его, слава Богу, не встречал, но звали его, если не ошибаюсь, Эббсон). — Они из закаленной стали.

Я ответил:

— Если вы о собаке, то не стоит волноваться. На неделе эта псина сожрала шнурок от ботинок и пачку иголок. Инстинкт их не подведет; щенкам, должно быть, полезны стимуляторы такого рода. Вот велосипед — это дело другое. Вы полагаете, его уже ничто не спасет?

От природы он был оптимистом:

— Ничего страшного. Поставим на место те, что удастся отыскать, а в остальном положимся на Провидение.

Нам удалось отыскать одиннадцать шариков. Шесть мы впихнули с одной стороны, пять — с другой, и через полчаса колесо стояло на месте. Нечего и говорить, теперь оно действительно люфтило, это было видно и ребенку. Эббсон сказал, что на сегодня, пожалуй, хватит. Он явно устал. Похоже, он уже собрался пойти домой. Я, однако, настаивал, чтобы он довел дело до конца. О прогулке я забыл и думать: машина была в безнадежном состоянии. Но мне хотелось посмотреть, как он будет царапаться, ударяться, прищемлять себе пальцы.

Он приуныл; заметив это, я сбегал на кухню, вынес ему стакан пива и обратился с речью, достойной Иуды:

— Смотрю на вас с нескрываемым удовольствием. Меня приводят в восторг не только ваша удивительная ловкость и сноровка, но и непоколебимая уверенность в своих силах, а также совершенно непостижимый для меня оптимизм. Я, видите ли, по природе своей скептик.

Напутствуемый этими словами, он принялся прилаживать к валу ведущего блока снятые педали. Он прислонил велосипед к стене и стал затягивать какую-то гайку. Затем он прислонил его к дереву, пытаясь добраться до гайки с другого бока. Затем я держал велосипед, а он лежал на земле между колесами и старался подлезть к ней снизу. В результате на него вылилось масло. Затем он отобрал у меня велосипед, перевесился через раму, уподобив себя переметной суме, и некоторое время болтался в таком положении. Но долго продержаться ему не удалось: вскоре он потерял равновесие и упал на голову. Трижды я слышал его восторженные клики:

— Ну, слава Богу, наконец-то все в порядке!

Дважды я слышал его проклятия:

— А, черт, опять не так!

Слова, произнесенные им в третий раз, для печати не годятся.

В конце концов он разъярился и поднял руку на несчастное создание. Велосипед, к моему огромному удовольствию, оказался малый не промах, и вскоре передо мной развернулась настоящая схватка. Противники были равны: то Эббсон брал верх над поверженной в прах машиной, то, наоборот, велосипед прижимал его к земле. Порой казалось, что Эббсону удается подмять под себя разбушевавшуюся машину, — вот он, торжествуя победу, крепко зажимает

ее промеж ног. Но нет, не на того напали: велосипед вырывается, разворачивается и со всего маху лупит его ручкой руля.

Без четверти час, грязный и оборванный, весь в ссадинах и синяках, он сказал: «Уф-ф-ф, пожалуй, все», — поднялся и утер пот со лба.

Велосипеду тоже досталось. Кто пострадал больше — сказать не берусь. Я отвел Эббсона на кухню, там он наскоро умылся и убежал домой.

Велосипед я погрузил на кеб и повез в ближайшую мастерскую. Мастер долго и внимательно рассматривал искореженную машину.

— Ну, и что же вы от меня хотите? — спросил он. — Я хочу, — ответил я, — чтобы вы его починили.

— Ишь чего захотели. Ну да ладно, что-нибудь сообразим.

Он насоображал на два фунта десять шиллингов. Но машина была уже не та, и в конце сезона я решил ее продать. Врать я не привык и попросил агента указать в объявлении, что велосипед куплен в прошлом году. Агент посоветовал об этом вообще не упоминать. Он сказал так:

— В нашем деле никого не волнует, правду говорит клиент или врет; нам главное, чтобы покупатель поверил. Скажу вам откровенно: ни за что не поверишь, что велосипед куплен в прошлом году, на вид ему лет десять, не меньше. Так что давайте об этом вообще умолчим и попробуем содрать побольше.

Я полностью доверился ему и выручил за велосипед целых пять фунтов — по словам агента, куда больше, чем он ожидал.

К велосипеду можно относиться двояко — его можно «отлаживать», а можно на нем и кататься. Я бы не стал категорично заявлять, что любитель «отладки» — человек совсем уж неразумный. Он не зависит от капризов погоды, сила и направление ветра его не волнует, состояние дорог не трогает. Дайте ему ключ, ветошь, какую-нибудь скамеечку — и радостей хватит на целый день. Конечно, и в этом занятии есть обратная сторона, но иначе и быть не может. Сам любитель похож на лудильщика; глядя на его велосипед, начинаешь подозревать, что он краденый и новый хозяин постарался обезобразить его до неузнаваемости. Впрочем, нашего любителя эти нюансы мало заботят — он редко выезжает дальше первого поворота. Некоторые наивно полагают, что один и тот же велосипед можно использовать в двух разных целях. Это заблуждение. Ни одна машина не выдержит двойной нагрузки. Так что выбирайте: уж либо кататься, либо «отлаживать». Лично меня больше привлекает кататься, и я терпеть не могу, когда меня подговаривают «отладить» машину. Если в моем велосипеде что-то сломалось, я везу его в ближайшую мастерскую. Если авария случилась где-нибудь вдали от центра цивилизации, я сажусь на обочину и жду попутной подводы. В таких случаях больше всего следует остерегаться странствующих знатоков. Для знатока сломанный велосипед — то же самое, что труп в придорожной канаве для стервятника: хлопая крылами, он устремляется на вас, оглашая воздух радостными кликами. На первых порах я разговаривал с ними вежливо:

— Все в порядке, не беспокойтесь. Проезжайте, ради Бога, умоляю вас, пожалуйста, езжайте своим путем.

Но опыт показал, что в таких чрезвычайных обстоятельствах деликатность неуместна. Теперь я разговариваю с ними так:

— А ну, не трожь машину! Проваливай, тебе говорят, а то счас как дам!

И если при этом скорчить рожу посвирепей и подобрать палку покрепче, то они, как правило, незамедлительно уезжают.

Ближе к вечеру зашел Джордж.

— Ну что, все будет готово?

— У меня к среде все будет готово. Как вы с Гаррисом — не знаю.

— Тандем в порядке?

— В полном порядке.

— Как, по-твоему, может, там что-нибудь надо подкрутить?

— Жизнь научила меня, что человек мало в чем может быть уверен. Поэтому далеко не на всякий вопрос я отвечу с той или иной степенью определенности. Но есть ничтожно малое число аксиом, вера в истинность которых во мне все еще непоколебима, и среди них есть одна: ничего в тандеме подкручивать не стоит. И торжественно тянусь, что положу свою жизнь, но ни одна живая душа до среды машины не коснется.

— Я бы на твоем месте так не кипятился. Недалек тот день, когда велосипеду потребуется небольшой ремонт, а до ближайшей мастерской будет два горных перевала и ты будешь изнемогать от усталости. И ты будешь вопить, прося ответить, куда подевалась масленка или куда запропастился ключ. Затем, потеряв всякую надежду удержать велосипед у дерева, ты предложишь кому-нибудь другому прочистить цепь и накачать заднее колесо.

Упрек Джорджа был справедлив — и было в нем нечто пророческое.

— Прости. Дело в том, что утром заходил Гаррис.

Джордж не стал обижаться:

— Можешь не продолжать, все понятно. Вообще-то, я к тебе совсем по другому делу. Посмотри-ка.

Он протянул мне книжицу в красном переплете. Это был английский разговорник для немецких туристов. Он начинался разделом «На борту парохода» и кончался «У врача»; больше всего разговоров велось в железнодорожном вагоне, в купе, до отказа набитом скандальными и, судя по репликам, дурно воспитанными пациентами сумасшедшего дома. «Не могли бы вы отодвинуться от меня, сэр?» — «Некуда, мадам, мой сосед чересчур толст!» — «Может, вы все же попробуете убрать куда-нибудь ваши ноги?» — «Будьте любезны, не пихайте меня локтем». — «Мадам, ежели желаете опереться на мое плечо, то не стесняйтесь!» (было непонятно, выражает ли эта фраза серьезные намерения или в ней заключен едкий сарказм). — «Мадам, вынужден попросить вас немного подвинуться, я задыхаюсь». По замыслу автора, к этому времени вся компания должна устроить на полу кучу-малу. Кончался раздел фразой: «Наконец-то доехали, слава Богу!» (Gott sei dank!) — в данных обстоятельствах она должна произноситься хором.

В конце книги шло приложение, в котором немецким туристам давались советы, как во время пребывания в английских городах сохранить покой и здоровье; особо подчеркивалось, что в дорогу следует брать порошок от насекомых, всегда закрывать на ночь двери и всегда тщательно пересчитывать сдачу.

— Не очень удачное издание, — заметил я, возвращая книгу Джорджу. — Я бы не стал рекомендовать такую книгу немцу — в Англию он ни за что не поедет. Хотя мне довелось читать книги, изданные в Лондоне для англичан, собирающихся за границу, — такая же чушь. Похоже, что какой-то ученый идиот, перепутав семь языков, пописывает себе книжонки и морочит всем голову насчет современной Европы.

— Но нельзя отрицать, — сказал Джордж, — что эти книжонки пользуются большим спросом. Они идут нарасхват. Ведь в каждом европейском городе ты встретишь массу людей, изъясняющихся подобным образом.

— Возможно, — ответил я, — но, к счастью, их никто не понимает. На перронах вокзалов или на перекрестках мне самому попадались люди, которые вслух зачитывали фразы из этих книг. Никто не знает, на каком языке они говорят, никто их не понимает. И это, пожалуй, к лучшему. Если их поймут, то тут же упрячут в сумасшедший дом.

— Может, ты и прав; и все же интересно было бы посмотреть, что произойдет, если их, несмотря ни на что, поймут. Давай сделаем так: в среду утром поедем в Лондон, походим по

городу часок-другой и попытаемся купить что-нибудь с помощью этой книжонки. В дорогу мне кое-что потребуется: шляпа, пара шлепанцев и разная мелочь. Наш пароход раньше не отчалит, так что времени у нас хоть отбавляй. Мне интересно узнать, как будут реагировать на такие фразы. Я хочу понять, что чувствует иностранец, когда с ним так разговаривают.

Идея мне показалась заманчивой. Горя энтузиазмом, я предложил Джорджу составить ему компанию и подождать у входа. Я сказал, что, по-моему, Гаррис также будет не прочь зайти в магазин или — что вероятнее — подождать на улице.

Джордж сказал, что его план несколько отличен от моего. Он предлагает мне и Гаррису пройти с ним в магазин. Если Гаррис, с его внушительными размерами, станет рядом с ним, а я займу пост у дверей, чтобы в случае необходимости успеть вызвать полицию, то он, пожалуй, готов рискнуть.

Мы зашли к Гаррису и поделились с ним своими планами. Он полистал книжонку, обращая особое внимание на разделы, касающиеся покупки обуви и головных уборов. Он заметил:

— Если Джордж в любом обувном или шляпном магазине скажет то, что здесь написано, — звать придется не полицию, звать придется санитарную карету.

Джордж рассердился:

— Нечего держать меня за круглого дурака, который ничего не смыслит. Я выберу, что повежливей, серьезные оскорбления я постараюсь опустить.

Уяснив это, Гаррис сдался, и мы решили выехать в среду рано утром.

Глава IV

Почему Гаррису не нужен будильник. — Тяга к общению у молодого поколения. — Что ребенок думает об утре. — Неусыпный страж. — Его загадочность. — Его заботливость. — Ночные думы. — Что можно успеть до завтрака. — Хорошая овечка и паршивая овца. — Как плохо быть добродетельным. — Новая плита. — Дядюшка Поджер спешит на поезд. — Почтенный джентльмен в роли беговой лошади. — Мы приезжаем в Лондон. — Мы разговариваем на языке туристов

Во вторник вечером Джордж заехал к Гаррису и остался у него ночевать. Такой вариант устраивал нас куда больше, чем предложение Джорджа заехать к нему с утра и прихватить его с собой. «Прихватить» Джорджа утром — процедура довольно сложная и начинается с того, что его необходимо вытащить из постели и хорошенько потрясти, чтобы он проснулся, — занятие это слишком утомительное, и так начинать день не годится; затем нужно помочь ему найти все вещи и упаковать их; после этого приходится ждать, пока он позавтракает, — зрелище, удручающее бесконечным повторением однообразных действий.

Я знал, что если он останется ночевать у Гарриса, то встанет вовремя; я сам там ночевал и знаю, чем это кончается. Глубокой ночью, как вам кажется, а на самом деле, наверняка уже под утро вы внезапно просыпаетесь от грохота, на который способен лишь кавалерийский полк, когда он на рысях проходит по коридору мимо вашей двери. Еще не совсем проснувшись, вы начинаете думать о грабителях, Судном дне, взрыве газового баллона. Вы садитесь на кровать и прислушиваетесь. Ждать приходится недолго: через мгновение громко хлопает дверь, и кто-то или что-то съезжает на подносе по ступенькам.

— А я тебе что говорил? — раздается голос в коридоре, и тут же что-то твердое отскакивает от вашей двери и с грохотом падает на пол.

В это время вы как угорелый мечетесь по комнате, тщетно пытаясь отыскать одежду. Ничего нет на месте; самый главный предмет гардероба бесследно исчез, а в это время убийство, восстание рабов или что-то в этом роде идет полным ходом. Засунув голову под шкаф, где, как вам кажется, могут быть шлепанцы, вы с ужасом прислушиваетесь к сильным ритмичным ударам в какую-то дверь. Безусловно, жертва пыталась укрыться в комнате, сейчас ее выволокут оттуда и прикончат. Успеете ли вы? Стук прекращается, и сладенький лицемерный голосок вопрошает:

— Папа, можно мне встать?

Что говорит второй голос, не слышно, но первый отвечает:

— Нет, это в ванной, нет, не ударилась, только облилась. Да, мама, я все передам. Но мы же не нарочно. Да, спокойной ночи, папа.

Затем тот же голос кричит изо всех сил, чтобы его услышали в дальнем конце дома:

— Идите наверх. Папа сказал, что вставать еще рано.

Вы опять ложитесь и слушаете, как кого-то, явно против его воли, тащат наверх. Комнаты для гостей Гаррис специально устроил под детской. Тот, кого тащат, упорно не желает снова ложиться спать и противится что есть мочи. Развернувшаяся схватка предстает перед вашим мысленным взором во всех подробностях: как только неизвестного удается закинуть на пружинный матрац, кровать — прямо над вами — подпрыгивает; глухой стук падающего тела свидетельствует о том, что сопротивление до конца не сломлено. Через некоторое время схватка затихает, а может быть, просто ломается кровать, и вы погружаетесь в сон. Но через секунду — или через тот промежуток времени, который кажется вам секундой, — вы вновь открываете глаза, чувствуя, что на вас смотрят. Дверь приоткрыта, и четыре важных детских личика с любопытством разглядывают вас, будто вы редкостный музейный экспонат, выставленный в специальном помещении. Заметив, что вы проснулись, самый старший, растолкав остальных, входит в комнату и непринужденно садится на постель.

— Ой! — говорит он. — А мы и не знали, что вы проснулись. Я сегодня уже просыпался.

— Знаю, — коротко отвечаете вы.

— Папа не любит, когда мы встаем рано, — продолжает он. — Он говорит, что если мы встанем, то никому в доме не будет покоя. Вот мы и не встаем.

В словах его сквозит полная покорность судьбе. Он горд своей добродетельностью и готовностью жертвовать своими желаниями.

— Так, по-твоему, вы еще не встали? — спрашиваете вы.

— Нет, еще не совсем. Видите, мы не одеты. — Факт очевиден. — Папа по утрам очень устает, — продолжает голосок, — это, конечно, потому, что он целый день работает. А вы устаете по утрам?

Дитя оборачивается и только тут замечает, что и остальные трое ребятишек вошли в комнату и расселись на полу. По их поведению становится ясно, что комнату они принимают за ярмарочный балаган, а вас — за фокусника или клоуна и терпеливо ждут, когда вы вылезете из постели и покажете какой-нибудь номер. Пребывание посторонних в комнате гостя

шокирует ребенка. Тоном, не допускающим возражений, он велит детям убраться. Они и не думают возражать, они вообще молчат; в гробовой тишине они как один бросаются на него. С кровати вам виден лишь спутанный клубок извивающихся рук и ног; вся куча напоминает сильно пьяного осьминога, пытающегося нащупать дно. Все молчат — так, должно быть, принято. Если вы спите в пижаме, то спрыгиваете с постели и своими действиями усугубляете возню; если же ваш гардероб менее приличен, то остаетесь на месте и велите им немедленно прекратить, однако ваши призывы остаются без внимания. Проще всего поручить все старшему. Через некоторое время он выкинет их в коридор и захлопнет дверь. Через секунду дверь снова распахнется, и кто-нибудь, обычно Мюриэль, вбежит в комнату, а точнее влетит, словно выпущенная из катапульты. Силы неравные — у нее длинные волосы, за которые очень удобно хвататься. Зная, по всей видимости, об этом своем природном недостатке, она одной рукой крепко держит волосы, а второй дубасит своего старшего братца. Он опять распахивает дверь, и Мюриэль как таран прошибает строй оставшихся в осаде. Вы слышите глухой стук — это ее голова пришла в соприкосновение с сомкнутыми рядами. Одержав победу, старший возвращается на прежнее место. Чувство мести в нем угасло — все забыто.

— Я люблю утро, — говорит он. — А вы?

— Вообще-то да, — отвечаете вы. — Но иногда по утрам бывает очень шумно.

Он не обращает внимания на ваше замечание; он смотрит куда-то вдаль, и лицо его просветляется.

— Я хотел бы умереть утром, все так красиво.

— Что ж, — соглашаетесь вы, — если твой папа оставит ночевать какого-нибудь сердитого дядю, не предупредив его, то, возможно, тебе и представится такое удовольствие.

Созерцательный настрой покидает его, и он снова становится самим собой.

— В саду так хорошо, — предлагает он. — Вставайте, пойдемте играть в крикет.

Ложась спать, вы строили совсем иные планы на утро, но сейчас, когда все так обернулось, эта мысль не кажется вам столь уж неразумной — заснуть все равно не удастся, и вы соглашаетесь.

Позднее, уже днем, вы узнаете, как обстояло дело в действительности: вы, томясь бессонницей, встали рано утром и захотели сыграть в крикет. Дети, которых учили с гостями быть вежливыми, сочли своим долгом развлечь вас. Миссис Гаррис за завтраком заметит, что, раз уж на то пошло, можно было бы и проследить, чтобы дети оделись; а Гаррис не без пафоса даст понять, что ваш дурной пример поставил крест на всей его многомесячной воспитательской деятельности.

В среду утром Джордж был поднят в четверть шестого и после недолгих уговоров согласился поучить их кататься вокруг парников на своем новом велосипеде. Однако даже миссис Гаррис не стала винить Джорджа; душой она чувствовала, что по своей воле Джордж на такое никогда бы не решился.

Дело вовсе не в том, что дети Гарриса — лживые и коварные существа, готовые свалить вину на ближнего. Все вместе и каждый по отдельности — это честные ребятишки, не любящие отпираться. Если вы им объясните, что в ваши планы не входит вставать в пять утра и играть в крикет, или представлять живые картины из Священной истории, или расстреливать из лука несчастную куклу, привязанную к дереву, — если у вас хватит на это духу, то можете спать спокойно и вас разбудят в нормальное время, в восемь подадут чашку чая, а они сначала удивятся, затем извинятся, а под конец искренне раскаются. В данном случае вопрос о том, почему Джордж проснулся около пяти — то ли сам по себе, то ли его разбудил самодельный бумеранг, случайно залетевший в окно, — имеет интерес сугубо теоретический: дети признались, что виноваты они. Старший мальчик сказал:

— Ведь нам говорили, что у дяди Джорджа был трудный день и мы не должны его утром беспокоить. Это я во всем виноват.

Но натворить они ничего не успели; кроме того, мы с Гаррисом решили, что тренировка пойдет Джорджу на пользу. Мы договорились, что в Шварцвальде будем вставать в пять утра. Более того, Джордж предлагал устроить подъем в половине пятого, но мы с Гаррисом возразили, что и пять часов — достаточно рано; поднявшись в пять, в шесть мы уже будем на машинах и до наступления жары успеем проделать изрядный путь. Иногда, конечно, же, можно выезжать и пораньше, но не каждый день. Сам я в то утро проснулся в пять, раньше, чем собирался. Ложась спать, я сказал себе: «В шесть ноль-ноль».

Я знаю, есть люди, которые могут просыпаться с точностью до минуты. Они говорят себе, кладя голову на подушку. «Четыре тридцать»; «Четыре сорок пять»; «Пять пятнадцать», в зависимости от того, когда им надо встать; и как только часы начинают бить, они открывают глаза. Это удивительно, просто уму непостижимо. Будто бы Некто, живущий сам по себе, сидит внутри нас и отсчитывает время, пока мы спим. И ведь нет у него часов, и солнца он не видит, и все же в кромешной тьме определяет время. Точно в нужный момент он шепчет: «Пора!», и мы просыпаемся. Я знавал одного рыбака. Как-то он рассказал мне, что этот Некто будит его ровно за полчаса до начала прилива. Он сказал мне, что ни разу еще не просыпал. Сначала он еще прикидывал, когда начнется прилив, но затем бросил это занятие. Усталый, он ложился спать и тут же погружался в глубокий сон, и каждое утро в разное время этот призрачный ночной страж, точный, как и сам прилив, шепотом будил его. Блуждал ли дух этого человека во тьме по илистому берегу моря, знаком ли он был с законами природы? Мы этого не знаем.

Моему внутреннему стражу, по-видимому, просто не хватает практики. Он старается изо всех сил, но волнуется, суетится и сбивается со счета. Скажешь ему, например: «Будьте добры, в пять тридцать», — а он будит тебя в полтретьего. Я смотрю на часы. Он высказывает предположение, что я, возможно, забыл их завести. Я прикладываю их к уху — они идут. Он думает, что они, скорее всего, отстают, сейчас должно быть половина шестого, если не позже. Чтобы успокоить его, я надеваю шлепанцы и спускаюсь в столовую взглянуть на настенные часы. Что случается с человеком, когда он в халате и шлепанцах среди ночи бродит по дому, описывать нет нужды, каждый испытал это на себе. Все вещи, особенно те, что имеют острые углы, с жестокой радостью колотят его. Когда вы разгуливаете в тяжелых башмаках, вещи разбегаются в разные стороны; когда же у вас на босу ногу надеты войлочные шлепанцы, они выползают из углов и лупят вас почем зря. В спальню я вернулся в дурном настроении и, отринув абсурдное предположение моего стража, что будто бы все часы в доме сговорились против меня, полчаса ворочался в постели, пытаясь уснуть. С четырех до пяти он будил меня каждые десять минут. Я уже жалел, что обратился к нему с такой просьбой. В пять часов, утомившись, он завалился спать, препоручив дело служанке, которая и разбудила меня на полчаса позже обычного.

В ту среду он так надоел мне, что я встал в пять, лишь бы от него отвязаться. Я не знал, куда себя деть. Наш поезд отходил в восемь; все вещи упакованы и вместе с велосипедом сданы в багаж еще вчера. Я поплелся в кабинет, решив поработать часок-другой. Не думаю, что столь ранний час — самое подходящее время для занятий изящной словесностью. Я написал три абзаца, перечел их. О моих опусах написано немало нелестных слов, но эти три абзаца были ниже всякой критики. Я выкинул лист в корзину и стал вспоминать, нет ли какого-нибудь благотворительного общества, выплачивающего пособия исписавшимся авторам.

Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, я положил в карман мяч и, выбрав путь подлиннее, поплелся на поле для гольфа. На поле щипала травку пара овец; они увязались за мной, проявляя явный интерес к моим действиям. Одна из них была добродушным, симпатичным и дружелюбным созданием. Не думаю, чтобы она разбиралась в игре, скорее всего, ей просто глубоко импонировало подобное невинное развлечение в столь ранний час. После каждого удара она блеяла:

— Бра-а-а-во, отли-и-и-чный удар!

Можно было подумать, что играет она сама.

Вторая же овца оказалась вздорной, сварливой скотиной. Если первая подбадривала меня, то эта только сбивала с толку оскорбительными репликами.

— Пло-о-о-хо, никуда-а-а не годи-и-и-тся! — комментировала она чуть ли не каждый мой удар. Сказать по правде, некоторые из ударов были просто великолепны, но она издевалась над ними из чистого упрямства, лишь бы досадить. Я это превосходно понимал.

Совершенно случайно, к моему сожалению, мяч попал хорошей овечке прямо в нос. На что паршивая овца рассмеялась — явно и недвусмысленно, хриплым, грубым смехом; и пока ее подруга ошарашенно смотрела в землю, не в силах от неожиданности сдвинуться с места, она впервые за всю игру сменила песню и заблеяла:

— Бра-а-а-во, отли-и-и-ично! Лу-у-у-учший удар за всю исто-о-о-рию спо-о-о-рта!

Много бы я дал, чтобы мяч попал в нее, а не в ту симпатичную овечку. Но так уж устроен мир: страдает всегда невинный.

На поле я пробыл дольше, чем предполагал, и, когда за мной пришла Этельберта и сказала, что уже половина восьмого и завтрак готов, я вспомнил, что еще не брился. Этельберта терпеть не может, когда я бреюсь наспех. Она опасается, что соседей мой вид может навести на мысль о покушении на самоубийство и по округе разнесется слух, что мы с ней не ладим. Кроме того, замечает она вскользь, у меня не та внешность, за которой можно не следить. В целом я был рад, что прощание с Этельбертой не затянется: иногда при расставании женщины плачут. Но детям на прощание я собирался дать пару наставлений, в частности, чтобы они не играли в крикет моими удочками; кроме того, я терпеть не могу опаздывать на поезд. В четверти мили от станции я нагнал Джорджа с Гаррисом — они тоже бежали. Мы шли с Гаррисом нос в нос, и он успел сообщить мне, что во всем виновата новая плита. Сегодня утром решили ее испытать, и, по неустановленной причине, она разметала почки по всей кухне и ошпарила кухарку. Когда вернется, сказал Гаррис, он ей задаст.

В поезд мы вскочили в последние секунды. Тяжело дыша, мы повалились на сиденья. По мере того как я все глубже анализировал события нынешнего утра, перед моими глазами все отчетливее вставал дядюшка Поджер, который двести пятьдесят дней в году ездил в город утренним поездом девять тридцать.

От дома дядюшки Поджера до станции было восемь минут ходьбы. Но дядюшка любил повторять:

— Выходить из дома надо за четверть часа и идти не спеша.

На самом деле он выходил за пять минут и бежал. Не знаю, почему, но в нашем пригороде так было принято. В то время в Илинге жило много солидных джентльменов из Сити — многие живут там и по сей день, — и всем им надо было поспеть на утренний поезд. Все они опаздывали, у всех в одной руке были черный портфель и газета, а в другой — зонт, последнюю четверть мили до станции они бежали — и в дождь, и при хорошей погоде.

Все местные бездельники — главным образом няньки, мальчики на побегушках, а иногда и лоточники — в хорошую погоду собирались поглазеть на них, криками подбадривая фаворитов. Нельзя сказать, что бегали они хорошо, более того, бегали они из рук вон плохо, но к делу относились серьезно и старались изо всех сил.

Иногда в толпе заключались пари:

— Ставлю два против одного на того старикана в белом жилете.

— Ставлю десять против одного на старого хрыча, что пыхтит как паровоз, если, конечно, он не кувырнется через голову на середине дистанции.

— Ставлю на Красного Мотылька! — Под такой кличкой шел у них дядюшкин сосед, отставной военный, в спокойном состоянии джентльмен безукоризненной внешности, но быстро меняющий цвет лица при резких движениях.

Дядюшка и все прочие неоднократно обращались в «Илинг Пресс», горько сетуя на бездеятельность местной полиции, и газета публиковала пламенные передовицы, обращающие внимание на падение нравов среди лондонского простонародья, особенно в западных пригородах. Но ничто не помогало.

Дело не в том, что дядюшка поздно вставал; дело в том, что все беды случались в последнюю минуту. После завтрака первым делом он терял газету. Мы всегда знали, когда дядюшка Поджер что-нибудь терял, — на лице у него появлялось выражение изумления и негодования, с которым он взирал на мир. Дядюшке Поджеру никогда не приходило в голову сказать себе:

— Я бестолковый старик. Я вечно все теряю и забываю, где что лежит. Сам я найти ничего не могу. Окружающим от меня тошно. Пора взяться за ум и попытаться исправиться.

Напротив, в результате каких-то странных рассуждений ему удается убедить себя, что в пропаже виноват кто угодно, только не он.

— Только что держал ее в руках! — восклицает он.

Судя по его тону, можно подумать, что вокруг него живут мошенники, для которых нет больше радости, чем с ловкостью фокусника утащить у него из-под носа газету.

— Может, ты оставил ее в саду? — высказывает предположение тетушка.

— Зачем мне оставлять ее в саду? В саду мне газета не нужна, газета нужна мне в поезде!

— Ты не клал ее в карман?

— Боже мой! Если бы я положил ее в карман, то стал бы я, по-твоему, стоять здесь, когда на часах без пяти девять? Что ж я, по-твоему, дурак?

Тут кто-нибудь кричит: «Это не она?» — и подает ему аккуратно сложенную газету.

— Я бы попросил никого не трогать моих вещей, — ворчит он, яростно выхватывая ее из рук дающего.

Он открывает портфель, собираясь положить туда газету, но, взглянув на число, на некоторое время лишается дара речи.

— Что случилось? — спрашивает тетушка.

— Позавчерашняя! — шепчет он. Обида его так велика, что он не может даже кричать; газета летит на стол.

И хоть бы раз для разнообразия газета оказалась вчерашней! Нет, всегда позавчерашняя, за исключением вторников; тогда она оказывается за субботу.

В конце концов газету мы находим, если только он не сидит на ней. И тогда он улыбается — не с благодарностью, а с тем чувством усталости, какое должен испытывать человек, обреченный судьбой жить среди скопища безнадежных идиотов.

— Ведь она лежала у вас прямо под носом, а вы… — фразу он не заканчивает — он всегда гордится своей выдержкой.

Разобравшись с газетой, он выходит в переднюю, где тетя Мария, по заведенному обычаю, собирает детей для прощания с ним.

Тетушка никогда не выходила из дому без нежного прощания со всеми домашними, разве что если собиралась забежать к соседке. Кто знает, говаривала она, всякое может случиться.

Кого-то одного, конечно, недостает; как только это обнаруживается, остальные все шестеро, ни минуты не мешкая, с дикими воплями бросаются на поиски. Как только они разбегаются, тут же объявляется пропавший, который болтался где-нибудь неподалеку; причина его отсутствия всегда самая уважительная; немедленно он пускается на поиски

остальных, дабы сообщить, что он нашелся. Таким образом, по меньшей мере пять минут все ищут друг друга; за это время дядюшка успевает найти зонтик и потерять шляпу. Наконец все вновь собираются в передней; в этот момент часы начинают бить девять. Бой у них мрачный, душераздирающий; на дядюшку он действует удручающе. Впопыхах он целует одних детей по два раза, других пропускает, тут же забывает, кого целовал, а кого нет, и все начинается сначала. Он говорит, что дети, по его твердому убеждению, путаются специально, и я не берусь утверждать, что обвинение это полностью лишено оснований. Помимо всего прочего, у кого-нибудь из детей непременно течет из носу и именно это чадо проявляет сыновьи чувства наиболее энергично.

Если все идет уж слишком гладко, старший мальчик начинает сочинять, что часы в доме отстают на пять минут и вчера он из-за этого опоздал в школу. Дядюшка опрометью несется к воротам, где вспоминает, что оставил дома портфель и зонтик. Дети, которых тетя не успевает задержать, мчатся за ним, вырывая друг у друга зонтик и портфель. Когда они возвращаются, мы замечаем на столе в передней самую важную вещь, забытую им, и гадаем, что же он скажет, когда вернется.

На Ватерлоо мы прибыли в самом начале десятого и тут же решили провести эксперимент, предложенный Джорджем. Открыв книгу на разделе «На стоянке извозчиков», мы подошли к фаэтону, приподняли шляпы и пожелали извозчику доброго утра. Извозчик не уступал в вежливости иностранцам — подлинным или мнимым. Призвав приятеля по кличке Чарльз «замереть», он спрыгнул с козел и отвесил нам поклон, достойный царедворца старого времени. Говоря, безусловно, от имени всей нации, он приветствовал нас на английской земле, выразив сожаление, что Ее Величество в настоящее время пребывает в загородной резиденции.

Ответить ему в том же духе мы не могли. Ничего подобного книжонка не предусматривала. Мы назвали его «возницей», на что он поклонился нам до земли, и справились, не соблаговолит ли он отвезти нас на Уэстминстер-Бридж-роуд.

Он положил руку на сердце и заверил нас, что это доставит ему несказанное удовольствие.

Выбрав третью фразу из раздела, Джордж поинтересовался у извозчика, какое же вознаграждение тот сочтет для себя справедливым.

Вопрос, переводящий нашу возвышенную беседу на низменную тему, казалось, оскорбил его в лучших чувствах. Он сказал, что никогда не спрашивает платы с важных иностранцев; он готов принять от нас какой-нибудь памятный подарок — булавку, там, с бриллиантом, золотую табакерку или какую-нибудь другую безделушку в этом роде.

Так как стала собираться толпа, а шутка, похоже, зашла слишком далеко, мы без долгих разговоров залезли в коляску и тронулись под крики зевак. Мы остановили кеб у обувного магазина рядом с театром «Эстли» — как раз то, что нам было нужно. Это был один из тех затоваренных магазинчиков, которые, стоит им открыться, тут же извергают свой товар наружу. Коробки с обувью были свалены на мостовой и в ближайшей канаве. Ботинки гроздьями свисали с окон и дверей. Ставни, словно виноградной лозой, были увиты связками черных и коричневых туфель. Внутри магазин был завален ботинками. Хозяин, когда мы вошли, был занят тем, что с молотком и стамеской в руках открывал ящик с новой партией товара.

Джордж приподнял шляпу и сказал:

— Доброе утро.

Хозяин даже не обернулся. С первого же взгляда он показался мне человеком неприветливым. Он что-то пробормотал себе под нос — это могло быть и «с добрым утром», и что-нибудь совершенно противоположное — и занялся своим делом.

Джордж продолжил:

— Ваш магазин порекомендовал мне мой друг м-р X.

На что хозяин должен был ответить:

— М-р X — достойнейший джентльмен; всегда рад услужить его друзьям.

На самом же деле он сказал:

— Не знаю такого и знать не хочу.

Ответ сбивал с толку. В книге описывались три или четыре способа покупки ботинок; Джордж, тщательно все взвесив, остановился на варианте с «м-ром X» как наиболее светском. Вы довольно долго болтаете с продавцом об этом «м-ре X», а затем, когда между вами таким образом установятся дружба и взаимопонимание, вы непосредственно переходите к цели вашего визита, а именно: намерению приобрести ботинки, «недорогие и хорошие». Этот хмурый, насупленный человек определенно ничего не понимал в тонкостях розничной торговли. С таким нельзя деликатничать, надо сразу брать быка за рога. Джордж отринул вариант с «м-ром X» и, перевернув страницу, наугад зачитал первую фразу. Выбор был неудачен: хозяин любого обувного магазина принял бы вас за слабоумного. В данных же обстоятельствах, когда ботинки душили и давили вас со всех сторон, она вообще была лишена всякого смысла. Она гласила:

— Я слышал, вы торгуете ботинками.

Тут хозяин отложил молоток и стамеску и посмотрел на нас. Он заговорил не спеша, низким и хриплым голосом. Он сказал:

— А для чего я, по-вашему, держу здесь ботинки — для запаха?

Такие люди всегда начинают спокойно, но затем все больше и больше распаляются, ярость их растет как на дрожжах.

— Кто я, по-вашему, — продолжал он, — коллекционер обуви? Зачем я, по-вашему, держу магазин — для здоровья? Вы что думаете, я люблю ботинки и ни за что не расстанусь ни с одной парой? Для чего я их, по-вашему, развесил — любоваться? Их что здесь — мало? Где вы, по-вашему, находитесь — на международной выставке обуви? Здесь что, по-вашему, — музей обуви? Вы когда-нибудь слыхали, чтобы человек держал обувной магазин и не торговал ботинками? Я их здесь зачем, по-вашему, держу — для красоты? Вы за кого меня принимаете — за чемпиона состязаний круглых идиотов?

Я всегда говорил, что пользы от этих разговорников никакой. Сейчас нам был просто необходим английский перевод расхожего немецкого выражения: «Behalten Sic Ihr Haar auf».[1]

Ничего подобного в этой книжонке не было. Однако я отдаю должное находчивости Джорджа: он отыскал фразу, как нельзя более подходящую к сложившейся ситуации. Он сказал:

— Что ж, зайду к вам в другой раз, когда выбор будет побогаче. Счастливо оставаться, до лучших времен!

С этими словами мы сели в кеб и уехали, оставив хозяина в забаррикадированных коробками с обувью дверях магазина. Что он нам кричал — я не слышал, но прохожие слушали его с большим интересом.

Джордж хотел остановиться у другого обувного магазина и повторить эксперимент; он сказал, что ему действительно надо купить пару шлепанцев. Но нам удалось уговорить его отложить покупку до приезда в какой-нибудь заморский город, где торговцы уже привыкли к подобным речам или просто более дружелюбны. Но на покупке кепки он настоял, заявил, что без кепки путешествие ему будет не в радость. Мы остановились у маленького магазинчика на Блэкфайерс-роуд.

Хозяином этого магазинчика оказался приветливый коротышка. Был он слегка навеселе, но не только не путал нас, а наоборот, помогал.

Когда Джордж точно по книге спросил его: «Есть ли у вас в продаже головные уборы?» — он не рассердился; он остановился и задумчиво поскреб подбородок.

— Головные уборы, — сказал он. — Дайте-ка подумать. Ага, — и приятная улыбка засияла на его добродушном лице, — можно поискать, авось, что найдется. Но, ради Бога, почему это вас интересует?

Джордж объяснил, что хочет купить кепку, дорожную кепку, но вся загвоздка в том, что нужна ему хорошая кепка.

Хозяин огорчился.

— Эх, — сказал он, — боюсь, ничего не выйдет. Вот если бы вам понадобилась плохая кепка, которая и гроша ломаного не стоит, кепка, которая только на то и годится, чтобы ею окна мыть, тогда бы я смог предложить вам кое-что. Но хорошая кепка — нет, таких не держим. Но постойте-ка, — продолжал он, прочтя на выразительном лице Джорджа разочарование, — не уходите. Есть у меня одна кепка, — он полез куда-то под прилавок, — не скажу, что хорошая, но всяко получше тех, которыми я торгую.

Он протянул нам кепку.

— Ну, как она вам? — спросил он. — Может, сойдет?

Джордж стал примерять ее перед зеркалом и, отыскав в книге нужную фразу, сказал:

— Это кепи подходит мне по размеру, но скажите, как, по-вашему, к лицу ли оно мне?

Хозяин отошел в сторону и окинул его внимательным взглядом.

— Сказать по правде, — ответил он, — оно вам не идет. Он отвернулся от Джорджа и обратился к нам с Гаррисом.

— У вашего друга, — сказал он, — очень живое лицо: то он красив, то, прямо скажем, безобразен. Эта кепка, по-моему, его очень портит.

Услышав это, Джордж решил, что хватит валять дурака. Он сказал:

— Хорошо, я ее беру. Мы спешим на поезд. Сколько с меня?

Хозяин ответил:

— Цена этой кепки, сэр, четыре шиллинга шесть пенсов, хотя она и половины того не стоит. Завернуть в коричневую бумагу, сэр, или в белую?

Джордж сказал, что заворачивать не надо, заплатил хозяину четыре шиллинга шесть пенсов серебром и вышел. Мы с Гаррисом пошли за ним.

На Фенчерч-стрит мы сторговались с кебменом за пять шиллингов. Он отвесил нам еще один изящный поклон и просил передавать привет австрийскому императору.

Обменявшись в поезде впечатлениями, мы согласились, что проиграли со счетом два: один, и раздосадованный Гаррис выкинул книжонку в окно.

Глава V

Необходимое отступление, предваряемое поучительной историей. — Одно из достоинств этой книги. — Журнал, который не пользовался успехом. — Его девиз: «Обучение через развлечение». — Вопрос: где обучение, а где развлечение? — Популярная игра. — Мнение

специалиста об английском законодательстве. — Еще одно достоинство этой книги. — Избитый мотив. — Третье достоинство этой книги. — В каком лесу живут девы. — Описание Шварцвальда

Рассказывают, что как-то шотландец, влюбившись в одну девушку, решил на ней жениться. Но, как и все его соплеменники, он был очень осторожен. Он заметил, что супружеская жизнь людей его круга, поначалу сулящая крепкий союз, со временем превращается в настоящий ад и все потому, что жених или невеста, не желая ударить лицом в грязь, скрывают перед свадьбой свои недостатки. Он решил, что с ним такого случиться не должно, никаких разбитых идеалов не будет. Поэтому предложение он делал следующим образом.

— Я нищ, Дженни. Мне нечего тебе предложить: ни денег, ни земли у меня нет.

— Дэви, мне нужен только ты!

— Этого маловато, девочка. Я всего лишь нищий оборванец, ни на что не годный. К тому же я и рожей не вышел.

— Ну, не скажи; посмотри на других, они еще страшнее.

— Какое мне дело до других, девочка? Плевать я на них хотел.

— Дэви, с лица не воду пить, а некрасивый муж лучше красавчика. Никуда ты от меня не денешься, будешь сидеть дома, а не шляться по девчонкам, как другие. С красавчиком хлопот в доме не оберешься.

— Плохо ты меня знаешь, Дженни, бабник я, каких поискать, не смотри, что рожей не вышел. Пройти спокойно не могу мимо юбки. Намучаешься ты со мной, Дженни.

— А, брось ты, Дэви. Сердце-то у тебя доброе, и потом, ведь ты меня любишь?

— Ой как люблю, Дженни, да боюсь, что скоро ты мне надоешь. Добр-то я добр, но это пока все идет нормально. Сидит во мне какой-то черт — можешь спросить у матушки, это у меня от папаши. Как что не по мне — все, такой скандал закачу! С годами у меня характер испортится, это уж как пить дать.

— Есть такое, покричать ты любишь, но потом тебе стыдно. Ты честный парень, Дэви. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Из тебя выйдет хороший хозяин.

— Скажешь тоже, Дженни! Водится за мной один грешок. Что же хорошего, если я спокойно смотреть не могу на выпивку. Как учую виски, так рот сам собой и разевается, словно у лохтейского лосося. Пью, пью, и все мне мало.

— Ничего, проспишься. А трезвый ты очень хороший, Дэви.

— Кто знает, Дженни. Не люблю, когда мне надоедают.

— Ничего, Дэви, договоримся. Ты ведь будешь работать?

— Работать? С какой это стати, Дженни? Нет, о работе лучше не заикайся, терпеть не могу работать.

— Ладно, Дэви, но ты ведь будешь стараться? Что с тебя возьмешь? От каждого по способности, как сказал наш священник.

— Постараться-то постараюсь, да что с того толку, Дженни? Мне и на кусок хлеба не заработать. Человек слаб и грешен, Дженни, а такого слабака и грешника, как я, Дженни, еще поискать надо.

— Ладно-ладно, Дэви, это хорошо, что ты со мной откровенен. Другие наврут с три короба, а потом мучайся с ними. Ты ничего не скрываешь, Дэви. Я, пожалуй, пойду за тебя, а там посмотрим, что из этого выйдет.

Что из этого вышло — никому не известно, в истории об этом нет ни слова, но, надо полагать, леди уже не имела права ни при каких обстоятельствах клясть свою судьбу. Так ли оно вышло или иначе — язык женщины далеко не всегда поступает в соответствии с законами логики, — но ее муж Дэви, во всяком случае, мог быть спокоен: ни одного упрека в свой адрес он не заслужил.

Подобно Дэви, я тоже хочу быть откровенен с читателем этой книги. Я хочу, ничего не скрывая, остановиться на ее недостатках. Я не хочу, чтобы у кого-нибудь сложилось об этой книге неправильное впечатление.

Из этой книги вы не почерпнете никаких полезных сведений.

Если кому-нибудь в голову придет мысль с помощью этой книги проделать путешествие по Германии и Шварцвальду, он заблудится, не доехав и до Норе. И это не самое страшное, что может с ним случиться. Чем дальше он окажется от родных мест, тем с большими трудностями столкнется.

Нельзя сказать, чтобы я с самого рождения отрицал полезность разного рода сведений; к этому я пришел с годами.

В молодости я работал в газете, бывшей предтечей многих современных научно-популярных изданий. Мы кичились тем, что познавательные факты мы преподносили читателю в увлекательной форме. Где кончалось познание и начиналось развлечение, читатель должен был решать сам. Мы давали советы, как жениться, — серьезные, обстоятельные, и если бы наши читатели им следовали, то сделались бы предметом зависти всего женатого населения мира. Мы сообщили нашим подписчикам, как сделать состояние, разводя кроликов, — при сем прилагались факты и цифры. Их, должно быть, немало удивляло, почему мы продолжаем скрипеть перьями, а не несемся сломя голову на рынок за парочкой производителей. Не раз и не два я сообщал нашим подписчикам правдоподобную историю о человеке, начавшем дело с двенадцати кроликов селекционных пород; через пару лет они приносили ему годовой доход в две тысячи фунтов, причем доход год из года рос, и с этим ничего нельзя было поделать. Деньги ему были не нужны. Он не знал, что с ними делать. Но деньги сами шли ему в руки. Мне никогда не встречались кролиководы, зарабатывающие по две тысячи в год, хотя, насколько мне известно, исходными двенадцатью производителями селекционных пород обзаводились многие. Всегда с ними что-нибудь случалось; должно быть, атмосфера, царящая в крольчатнике, убивала у хозяина всякую инициативу.

Мы информировали наших читателей о числе лысых в Исландии — на мой взгляд, цифры выглядели весьма правдоподобно; о количестве селедок, необходимых для того, чтобы выложить из них дорожку от Лондона до Рима, — эта информация была бесценна для желающих поставить такой эксперимент: им не пришлось бы утруждать себя расчетами; о том, сколько слов за день произносит средняя женщина, — подобные сведения из области чисел должны были выглядеть внушительно и многозначительно, в отличие от материалов, подаваемых читателям другими журналами.

Мы поведали им, как лечить кошек от эпилепсии. Лично я не верю — да и тогда не верил, — что эпилепсия у кошек излечима. Если бы моя кошка страдала эпилепсией, я бы постарался сбыть ее, а то и просто выбросил бы за дверь. Но наш долг — отвечать на все письма читателей. Какому-то идиоту нужно было это знать, и я перерыл кучу книг в поисках ответа. Наконец, в какой-то старинной поваренной книге я нашел то, что было нужно. Как это там оказалось — ума не приложу. К кулинарным рецептам это не имело никакого отношения, в книге и намека не было на то, что из кошек, пусть даже исцеленных от эпилепсии, можно приготовить что-нибудь съедобное. Автор сообщал рецепт исключительно великодушно.

Лучше бы он этого не делал: после публикации в редакцию хлынул поток гневных писем, мы потеряли, по меньшей мере, четырех подписчиков. Наш читатель сообщал нам, что совет обошелся ему в два фунта, — именно во столько хозяйка оценила разбитую посуду. Стоимость разбитого стекла должен назвать стекольщик. Не исключено, что у него самого началось заражение крови. Припадки у кошки участились. А рецепт был весьма прост. Осторожно, чтобы не причинить кошке боли, вы зажимаете ее между колен и ножницами надрезаете хвост. Надо следить за тем, чтобы случайно не отрезать весь хвост или часть его, — необходим лишь надрез.

Как мы сообщили нашему читателю, операцию следует проводить в саду или сарае; лишь последний идиот станет заниматься этим на кухне, причем без ассистентов.

Мы учили читателей этикету. Мы рассказали им, как титуловать пэров и архиепископов, а также как правильно есть суп. Мы учили застенчивых юношей вести изысканную светскую беседу. Мы учили кавалеров и дам танцам с помощью схем. Мы решали все религиозные сомнения наших читателей и в качестве приложения разослали Десять Заповедей, качеством исполнения не уступающих иному рекламному плакату.

Дела журнала шли плохо, время таких изданий еще не пришло, и в результате последовало сокращение штатов. На прощание я, помнится, написал: «Советы матерям» — сведения я почерпнул от своей хозяйки (она развелась с мужем, похоронила четырех детей и в таких делах должна была хорошо разбираться); затем — «Как обставить квартиру» (чертежи прилагаются); колонку «Советы начинающим авторам» — искренне надеюсь, что мои рекомендации пошли им на пользу, хотя сам я придерживаюсь совершенно других взглядов на литературное творчество; написал статью в раздел под еженедельной рубрикой «Откровенный разговор с молодым человеком», который вел «дядя Генри», многое он повидал и пережил на своем веку. А с какой симпатией относился он к подрастающему поколению! Все их трудности были ему знакомы, он сам сталкивался с ними в своей юности. Я и сейчас порой перечитываю советы «дяди Генри», хотя другим и не советую, и по-прежнему они мне кажутся мудрыми и доброжелательными. Порой я думаю, что, прислушайся я как следует к «дяде Генри», не наделал бы в своей жизни столько ошибок, был бы умней, разумней и вполне доволен собой, не то что сейчас.

Тихая, измученная женщина, снимавшая комнатенку на Тоттенхэм-Корт-роуд, отправившая мужа в сумасшедший дом, вела разделы «Кулинарные рецепты», «Советы по воспитанию» — советы мы давать любили — и полторы полосы «Светской хроники». Писала она от первого лица, витиеватым слогом — стиль, уже изживший себя, но, насколько я могу судить по нашей периодике, от которого еще не все отказались: «Спешу уведомить вас, друг мой, что на той неделе мы выезжали в загородный особняк князя. Туалет мой был превосходен! Князь С. …, но уместно ли мне повторять сплетни, следующие по пятам за этим человеком? Он так глуп, и представляю, как ревнует милая графиня…» и т. д. и т. п.

Несчастное создание! По сю пору стоит она у меня перед глазами в своем поношенном сером балахоне, закапанном чернилами. День, проведенный за городом, да не в особняке князя, а где-нибудь в лесу, на свежем воздухе, может, и навел бы румянец на ее бледные щеки.

Более невежественного человека, чем владелец нашего журнала, я не встречал; как-то он вполне серьезно заявил в письме нашему подписчику, что Бен Джонсон написал «Рабле» в силу необходимости, рассчитывая на полученный гонорар похоронить свою мать; когда ему указывали на ошибки, он лишь добродушно смеялся; вел он раздел «Общие сведения», полагаясь в своей работе на дешевое издание энциклопедии, и выходило у него просто великолепно. Материал в раздел «Сатира и юмор» поставлял нам рассыльный, призвавший на помощь пару великолепных ножниц.

Работа была трудная, платили нам мало; единственное, что поддерживало нас, — это твердая уверенность в необходимости образования и воспитания наших соотечественников и

соотечественниц. Человечество изобрело много игр, но ни одна из них не завоевала такого признания, как игра в школу. Вы собираете шестерых ребятишек усаживаете их на ступеньки, а сами прохаживаетесь взад-вперед, держа в одной руке книгу, в другой — указку. Мы играем в школу в детстве, играем в отрочестве, играем в зрелом возрасте, играем, когда, согбенные, шаркающей походкой, плетемся к могиле. Эта игра не приедается, играть в нее можно без конца. Одно лишь портит ее: остальным шестерым тоже не терпится помахать указкой и книгой. Вот почему, несмотря на все свои недостатки, профессия журналиста столь популярна: каждый журналист чувствует себя тем участником игры, который прохаживается взад-вперед с указкой в руке. Правительство, Классы и Массы, Общество, Литература и Искусство — так зовут детей, оставшихся сидеть на ступеньках. Он их просвещает и воспитывает.

Но я отвлекся. Я вспоминаю все это, чтобы была понятна причина моего нежелания служить источником полезной информации. Вернемся к рассказу.

Один читатель, подписавшийся «Воздухоплаватель», просил нас сообщить, как можно получить водород. Нет ничего проще, чем получить водород, — в этом я убедился, изучив и проштудировав всю литературу по этому вопросу, имеющуюся в библиотеке Британского музея; тем не менее я счел необходимым предупредить «Воздухоплавателя», кем бы он там ни был на самом деле, о возможности несчастного случая и призвал принять все меры предосторожности. Что еще я мог сделать? Через десять дней в редакцию заявилась цветущая дама, волоча за собой некое существо, оказавшееся, как она объяснила, ее двенадцатилетним сыном. Лицо мальчонки было на редкость невыразительным. Мать подтолкнула его к моему столу, сдернула с него шапку, и тут я понял, что с ним такое. Бровей на лице не было совсем, а вместо волос голова была покрыта каким-то грязным порошком, отчего походила на крутое яйцо, очищенное от скорлупы и посыпанное черным перцем.

— Неделю назад это был очаровательный мальчик с кудрявыми волосами, — сообщила мамаша. Судя по интонации, это было лишь началом истории.

— Что с ним стряслось? — поинтересовался шеф.

— А вот что, — ответила мамаша. Она вынула из муфточки номер нашего журнала за прошлую неделю, где моя статья о водороде была обведена карандашом, и сунула ему под нос. Шеф взял номер и внимательно прочитал статью.

— Так это он и есть «Воздухоплаватель»? — поинтересовался шеф.

— Он и есть «Воздухоплаватель», — не стала запираться мамаша. — Бедное доверчивое дитя! А теперь посмотрите на него!

— Может, волосы еще отрастут? — высказал предположение шеф.

— Может, и отрастут, — ответила мамаша, все повышая голос, — а может — и нет. Меня интересует, что вы собираетесь для него сделать.

Шеф предложил помыть мальчику голову. Сначала мне показалось, что она накинется на него с кулаками, но пока она решила ограничиться словами. Выяснилось, что мытьем головы тут не отделаешься, нужна денежная компенсация. Попутно она поделилась с нами своими наблюдениями относительно общего направления нашего журнала, его практической ценности, его призывов к поддержке общественности и умственных способностей его сотрудников.

— Нашей вины я тут не вижу, — возразил шеф (человек он был весьма деликатный). — Он просил информацию — он ее и получил.

— Так вы еще и смеетесь?! — сказала мамаша (ему и в голову не приходило смеяться, человек это был пресерьезнейший). — Сейчас вот получите то, чего не просили. Всего лишь за два пенса! — сказала мамаша с такой решительностью, что мы, дрожа, как зайцы, поспешили попрятаться за стулья. — Вот заявлю куда следует, и с вашими головами будет то же самое! — Я понял, что она имеет в виду голову своего сыночка. При этом она прошлась по

поводу внешности шефа, из чего было видно, что вкус у нее неважный. Неприятная была женщина. Но по-моему, выполни она свою угрозу, дело ее было бы поиграно; однако шеф был искушен в вопросах юриспруденции, и его принцип был — никогда не связываться с законом. Он частенько говаривал:

— Если меня остановят на улице и потребуют снять часы, я откажусь. Если же мне станут угрожать силой, я наверняка стану защищаться, хотя драться и не умею. Если же, с другой стороны, грабитель пригрозит востребовать их с меня по суду, я без разговоров отдам ему часы и буду считать, что еще дешево отделался.

Он уладил дело с красномордой мамашей, уплатив ей пять фунтов — весь наш месячный доход, и она ушла, утащив покалеченного отпрыска. После ее ухода шеф очень мягко сказал мне: — Не подумайте только, что я вас в чем-то виню; это не вина — это судьба. Занимайтесь вопросами нравственности и критикой — это у вас хорошо получается; но заниматься дальше «Полезными советами» я вам не советую. Как я уже сказал, вы здесь ни при чем. В вашем материале все верно, ничего не скажешь; просто вам не везет.

Как я жалею, что не последовал его совету, от каких напастей я избавил бы себя и окружающих! Не знаю, почему, но мои советы до добра не доводят. Если я объясню кому-нибудь, как лучше добраться из Лондона в Рим, то можете быть уверены: либо этот человек потеряет багаж в Швейцарии, либо потерпит кораблекрушение в Дувре. Если я посоветую кому-нибудь купить фотоаппарат, то в Германии его арестуют по подозрению в шпионаже. Мне стоило немалых трудов объяснить одному человеку, что ему надо сделать, чтобы жениться на сестре покойной жены, проживающей в Стокгольме. Я узнал, когда отходит пароход из Гулля, в каких отелях лучше остановиться. Сведения, которыми я снабдил его, были получены из самых достоверных источников, и промашки быть не могло; и все же со мной он больше не разговаривает.

Вот почему мне и приходится обуздывать свою страсть к полезным советам; а посему в этой книге вы не найдете ничего, хотя бы отдаленно напоминающего практические рекомендации. По крайней мере, я к этому стремился; не знаю, насколько мне это удалось.

В ней не будет описаний городов, памятников архитектуры, исторических реминисценций, нравоучений.

Я как-то спросил одного ученого иностранца, что он думает о Лондоне.

— Это очень большой город, — сказал он.

— Что вас больше всего поразило? — поинтересовался я.

— Люди.

— Если сравнить его с другими городами — Парижем, Римом, Берлином, — что вы о нем думаете?

Он пожал плечами:

— Он будет побольше — что еще сказать?

Один муравейник очень похож на другой. Везде много дорожек — одни узкие, другие широкие, и по ним бестолково снуют насекомые, одни куда-то спешат, другие останавливаются поболтать с приятелем. Одни волокут тяжелую ношу, другие греются на солнышке. В закромах хранятся припасы, в многочисленных келейках насекомые живут своей нехитрой жизнью: спят, едят, любят. А в этом уголке покоятся их белые косточки. Эта норка побольше, эта поменьше. Это гнездышко на камнях, это на песке. Этот домик построен лишь вчера, а этому чуть ли не сто лет, говорят, был он еще до того, как ласточки налетели, — может, и не врут?

Не найдете вы в этой книге народных песен и легенд.

Своя песня есть в каждой населенной долине. Я вам сообщу ее сюжет, а вы можете передать его стихами и положить их на собственную музыку: жила-была девушка, прискакал какой-то парень, полюбил ее и ускакал.

Вариантов эта песня не имеет, поют ее на многих языках, так как нашего молодого человека изрядно поносило по белу свету. Хорошо помнят его в сентиментальной Германии; помнят, как он прискакал к ним, и жители голубых Эльзасских гор; побывал он, если мне не изменяет память, и на берегах Аллана. Какой-то Вечный Жид, да и только; и сегодня, как рассказывают, находятся глупые девицы, которым слышится затихающий стук копыт его коня.

В нашей стране, где так много развалин и заброшенных домов, сохранилось немало легенд. Передаю вам суть, а вы уж состряпайте сами блюдо по вкусу. Возьмите одно или два человеческих сердца, так, чтобы они подходили друг другу; один пучок страстей человеческих — их не так уж и много, с полдюжины, не более того; приправьте смесью добра и зла; полейте все соусом из смерти — и подавайте где и когда угодно. «Келья святого», «Заколдованная башня», «Могила в темнице», «Смертельный прыжок влюбленного» — назовите блюдо, как хотите, вкус от этого не изменится.

И наконец, в этой книге не будет описаний природы. И не потому, что я поленился, — я сдерживал себя. Нет ничего легче, чем описывать природу; нет ничего труднее и бессмысленнее, чем читать эти описания. В те времена, когда Гиббону при описании Геллеспонта приходилось полагаться на рассказы путешественников, а Рейн был знаком английским студентам главным образом по «Запискам» Цезаря, каждый путешественник, куда бы ни забрасывала его судьба, считал своим долгом, по мере возможностей, описать то, что видел. Д-ру Джонсону, не видевшему ничего, кроме той части Лондона, что открывается с Флит-стрит, доставит большое удовольствие ознакомиться с описанием йоркширских пустошей. Кокни, который не бывал в местности более возвышенной, чем Хогс-бэк в Сарри, с восхищением прочтет репортаж о восхождении на Сноудон. Но нам, знающим, что такое пароход и фотокамера, этого не нужно. Человек, который каждый год играет в теннис у подножья Маттерхорна, а в бильярд — на склонах Риги, вряд ли скажет вам спасибо за подробное и занудное описание Грампийских гор. Средний человек знаком с Ниагарой: он видел с полдюжины картин, сотни фотографий, тысячи картинок в иллюстрированных журналах, пару-тройку панорам, и словесное описание знаменитого водопада покажется ему скучным.

Один мой американский друг, образованный джентльмен, знаток и любитель поэзии, как-то признался, что из восемнадцатипенсового фотоальбома с видами Озерного края он получил более точное и более яркое представление об этом районе, чем из полного собрания сочинений Кольриджа, Саути и Вордсворта, вместе взятых. Также помню, как он однажды сказал по поводу литературных описаний природы: проку от них не больше, чем от красочных описаний блюд, которые автор имел удовольствие поглотить за обедом. Но это уже имеет отношение к другому вопросу, а именно: к конкретному назначению каждого из искусств. Мой друг полагает, что как холст и масло представляют собой средства, не пригодные для написания романа, так и словесные описания являются в лучшем случае не чем иным, как жалкой попыткой подменить зрение совсем иными чувствами.

В этой связи мне всегда вспоминается жаркий школьный денек. Шел урок литературы. Начался он с того, что нам дали прочесть длинное, но крайне бессодержательное стихотворение. Автора я, к стыду своему, забыл, как, впрочем, и название стихотворения. Закончив читать, мы закрыли учебники, и учитель, добрый седовласый джентльмен, попросил нас пересказать стихотворение своими словами.

— Ну-с, — сказал учитель, — о чем же в нем пойдет речь?

— В нем, сэр, — сказал первый мальчик — отвечал он набычившись, с явной неохотой, как будто речь шла о предмете, на который он, будь его воля, и не обратил бы внимания, — говорится о деве.

— Ну что ж, — согласился учитель, — а теперь передай содержание своими словами. Ты ведь знаешь: «дева» сейчас не говорят; говорят «девушка». Да, стихотворение о девушке. Что же дальше?

— О девушке, — повторил ученик; замена одного слова другим, казалось, придала ему решимости, — которая жила в лесу.

— В каком лесу? — спросил учитель.

Ученик уставился в чернильницу, а затем перевел взгляд на потолок.

— Давай-давай, — настаивал учитель, понемногу теряя терпение, — вы читали стихотворение целых десять минут. Не может быть, чтобы ты ничего не сумел рассказать нам о лесе.

— Кривые дерева, дрожащие их листья, — тут же отозвался ученик.

— Нет-нет, — перебил его учитель, — не надо читать наизусть. Расскажи своими словами, что это был за лес, в котором жила девушка.

Учитель от нетерпения притопнул ногой; ученик совсем стушевался.

— Сэр, это был самый обыкновенный лес.

— Скажи ему, что это был за лес, — сказал учитель, вызывая другого ученика.

Второй ученик сказал, что это был «зеленый лес», на что учитель рассердился еще больше, обозвал его болваном, хотя за что — непонятно, и вызвал третьего, который вот уже целую минуту сидел как на углях и размахивал рукой, словно сломавшийся семафор. Не спроси его учитель, он бы выкрикнул ответ с места; знания так распирали его, что он покраснел от натуги.

— Сырой и мрачный лес, — проорал третий ученик, слава Богу, он не лопнул.

— Сырой и мрачный лес, — одобрительно повторил учитель. — А почему он был сырой и мрачный?

И на этот вопрос у третьего ученика нашелся ответ:

— Туда не попадало солнце.

Учитель был рад, что среди целого класса сыскалась хоть одна поэтическая душа.

— Туда не попадало солнце, а лучше сказать, туда не проникали солнечные лучи. А почему туда не проникали солнечные лучи?

— Листва была слишком густа, сэр.

— Отлично, — сказал учитель. — Итак, девушка жила в сыром и мрачном лесу, где кроны деревьев сплелись так густо, что сквозь них не проникали солнечные лучи. Ну а что же росло в этом лесу? — он вызвал четвертого Ученика.

— Если позволите, сэр, деревья, сэр.

— А еще что?

— Грибы, сэр, — подумав, ответил ученик.

Насчет грибов учитель не был уверен, но, справившись в тексте, убедился, что мальчик прав: упоминались и грибы.

— Правильно, — согласился учитель, — там росли грибы. А еще что? Что находится в лесу под деревьями?

— Земля, сэр.

— Нет-нет. Что растет в лесу кроме деревьев?

— Ах да, сэр, кусты, с вашего позволения.

— Кусты. Что ж, отлично. Пойдем дальше. В том лесу росли деревья и кусты. А что еще?

Он вызвал маленького мальчика с первой парты. Далекий лес его совершенно не трогал, и он коротал время, играя сам с собой в крестики-нолики. Крайне недовольный тем, что его

оторвали от увлекательного занятия, он все же счел своим долгом придать разнообразие скудной растительности сырого и мрачного леса и назвал чернику. Здесь он ошибся: поэт и словом не обмолвился о чернике.

— У Клобстока все еда на уме, — прокомментировал его ответ учитель, гордившийся своим остроумием. Над Клобстоком стали смеяться, что учителю понравилось.

— А теперь ты, — продолжал он, указывая на мальчика в среднем ряду, — что еще было в лесу кроме деревьев и кустов?

— Там был поток, сэр.

— Правильно. И что же делал поток?

— Если позволите, сэр, он журчал.

— Нет-нет. Журчат ручьи, а потоки…

— Ревут, сэр.

— Он ревел. А почему он ревел?

Это был трудный вопрос. Один мальчик — умом он не блистал — высказал предположение, что из-за девушки. Чтобы помочь нам, учитель задал наводящий вопрос:

— Когда он ревел?

Третий ученик опять поспешил нам на выручку, объяснив, что он ревел, когда ударялся о камни. Тут, сдается мне, многие из нас подумали, что поток, который ревет по столь ничтожному поводу, должно быть, порядочный нытик; другой бы на его месте, не сказав ни слова, потер ушибленное место и пошел бы дальше. Поток, который ревет всякий раз, как падает на камни, — жалкий хлюпик, но учитель, судя по всему, ответом остался доволен.

— А кто еще жил в лесу кроме девушки? — последовал новый вопрос.

— Птицы, сэр.

— Да, в лесу жили птицы. А кто еще?

На птицах наша фантазия иссякла.

— Ну, — сказал учитель. — Как называется животное с пушистым хвостом, которое лазает по деревьям?

Мы немного подумали, и затем кто-то назвал кошку.

Вышла промашка — о кошках поэт ничего не говорил; белки — вот чего добивался от нас учитель.

Что еще было в том лесу, я уже позабыл. Помню лишь, что было небо. На полянках, попадающихся то здесь, то там, можно было, если задрать голову, увидеть небо; небо было частенько затянуто тучами, и время от времени девушка, если я ничего не путаю, промокала под дождем.

Я потому остановился на этом случае, что, как кажется, он великолепно отвечает на вопрос о литературных описаниях природы. И тогда я не понимал, да и сейчас мне невдомек, почему учителю показалось недостаточным описание леса, предложенное первым мальчиком. Отдавая должное поэту, как бы там его ни звали, мы все же должны признать, что лес тот был «самым обыкновенным лесом» и иным быть не мог.

Я мог бы дать длинное описание Шварцвальда. Я мог бы перевести Хебеля, тамошнего поэта. На целые страницы я мог бы растянуть описание диких ущелий и веселых долин, горных склонов, покрытых соснами, скалистых вершин, пенящихся потоков (в тех местах, где аккуратные немцы не успели навести порядок и не упрятали их в трубы или не пустили по деревянным лоткам), беленьких деревушек, одиноких хуторов.

Но есть у меня сильное подозрение, что всего этого читать вы не станете. А на всякий случай — вдруг среди моих читателей попадутся люди добросовестные или, избави вас Бог,

слабоумные, я, поскольку уже все сказано и написано, — передам вам свои впечатления, прекрасно изложенные простым языком обыкновенного путеводителя:

«Живописный горный район, ограниченный с юга и запада долиной Рейна, куда шумно низвергаются его многочисленные притоки. Горный массив сложен в основном из различных пород песчаника и гранита; невысокие вершины, густо поросшие сосновым лесом. Район обильно орошается многочисленными потоками; плодородные равнины густо заселены; развитое земледелие. Гостиницы хорошие, но иностранцам рекомендуется с большой осторожностью подходить к дегустации местных вин».

Глава VI

Как нас занесло в Ганновер. — Что за границей делают лучше, чем у нас. — Как в английской школе обучают искусству вести беседу на иностранном языке. — Как все было на самом деле. — Шут гороховый. — Отцовские чувства Гарриса. — Высокое искусство поливания улиц. — Патриотизм Джорджа. — Что должен был сделать Гаррис. — Что он сделал. — Мы спасаем Гарриса от неминуемой расправы. — Бессонный город. — Лошадь в роли критика

В пятницу мы прибыли в Гамбург; путешествие по морю прошло спокойно и без всяких приключений. А из Гамбурга мы отправились в Берлин через Ганновер. Это не самый прямой путь. Объяснить, что нас занесло в Ганновер, я могу лишь словами одного негра, который объяснял суду, как он очутился в курятнике местного священника.

— Да, сэр, полицейский не врет, сэр; там-то меня и застукали.

— Значит, ты этого не отрицаешь? А теперь скажи, что ты делал в курятнике пастора Абрахама в двенадцать ночи с мешком в руках?

— Сейчас все объясню, сэр. Значит, так, сэр. Я отнес масса Джордану мешок дынь. Значит, так, сэр, и масса Джордан — добрый человек, надо сказать, сэр, — пригласил меня зайти.

— Ну и что?

— Да, сэр, очень добрый человек этот масса Джордан. У него мы все сидели, и все разговаривали, разговаривали…

— Вполне возможно. Но мы хотим знать, что ты делал в курятнике пастора?

— Значит, так, сэр, это-то я вам и собираюсь объяснить. Когда я уходил от масса Джордана, было уже поздно. И дернул же меня черт ступить не с той ноги! Ну, Улисс, говорю себе, влип ты, задаст тебе твоя старуха перцу. Ох и болтлива она у меня, сэр, ох и болтлива…

— Ладно, оставь ее в покое. Лучше на себя посмотри. Если ты шел домой от мистера Джордана, как ты попал к пастору Абрахаму? Ведь это совсем не по пути?

— Что ж, сэр, стало быть, я дал крюка.

Вот и мы, стало быть, дали крюка. На первый взгляд, Ганновер кажется неинтересным городом, но потом он начинает нравиться все больше и больше. По сути дела, это два города. Город современных, широких, красивых улиц и со вкусом разбитых садов существует бок о бок с городом шестнадцатого века, где старые бревенчатые дома нависли над узкими переулками, где за низкими подворотнями проглядывают дворики с галереями, в которых когда-то стояли оседланные кони или запряженные шестериком колымаги, поджидая своего богатого хозяина-купца и его флегматичную дородную фрау, и где сейчас взапуски носятся дети и цыплята, а на резных балконах вывешено для просушки выстиранное белье.

Сугубо английская атмосфера царит в Ганновере, особенно по воскресеньям, когда закрываются лавки и во всех церквях звонят в колокола, что создает полную иллюзию воскресного Лондона. Если бы эта британская воскресная атмосфера ощущалась только мной, я бы отнес ее на счет своего воображения, но даже Джордж почувствовал ее. Мы с Гаррисом, вернувшись как-то в воскресенье с небольшой послеобеденной прогулки, вышли покурить и застали его в курительной комнате мирно спящим в мягком кресле.

— В конце концов, — сказал Гаррис, — есть что-то такое в британском воскресенье, что влечет к себе человека, в жилах которого течет английская кровь. Что бы там ни говорило молодое поколение, мне будет очень жаль, если отношение к воскресенью изменится.

И, удобно разместившись на обширном диване, мы присоединились к Джорджу.

Говорят, в Ганновер надо ехать, чтобы выучить язык, — по-немецки здесь говорят лучше всех в Германии. Беда лишь в том, что за пределами Ганновера — а это всего лишь маленькая провинция — этот великолепный немецкий никому не понятен. Так что вам остается решать: выучить хороший немецкий и оставаться в Ганновере или выучить плохой и путешествовать по Германии. В этой стране, на протяжении столетий раздробленной на дюжину княжеств, на беду немцев существует множество диалектов. Немцам из Позена для общения со своими соотечественниками из Вюртемберга приходится затрачивать столько же усилий, сколько англичанину при беседе с французом, а почтенные вестфальцы, затратив немалые средства на образование своих детей, с недоумением вдруг замечают, что их отпрыски не в состоянии понять мекленбуржцев. Конечно же, иностранец, говорящий по-английски, вряд ли поймет жителей йоркширских пустошей или обитателей трущоб Уайтчепела, но это совсем другое дело. В Германии на диалектах говорят не только в глухих деревушках и говорит не только необразованная публика. В каждой земле существует свой, практически самостоятельный язык, который сохраняют и которым гордятся. Образованный баварец в разговоре с вами наверняка согласится, что северонемецкий более правилен, но сам будет говорить на южнонемецком и учить ему своих детей.

Мне кажется, что к концу столетия Германия все же решит языковую проблему и сделает это с помощью английского. Каждый ребенок из средней немецкой семьи говорит по-английски. Если бы английское написание хоть чуть побольше соответствовало произношению, наш язык, несомненно, через несколько лет сделался бы мировым. Все иностранцы признают, что нет ничего проще английской грамматики. Немец, сравнивая английский язык со своим родным, в котором употребление каждого слова в каждом предложении обусловлено, по крайней мере, четырьмя совершенно различными и не зависящими друг от друга правилами, скажет вам, что в английском нет грамматики. Да и немалое число англичан придерживается такого же мнения, но они ошибаются. На самом деле английская грамматика существует, и настанет день, когда ее признают школьные учителя и наши дети начнут ее изучать, а ее правил — чем черт не шутит? — будут придерживаться писатели и журналисты. Но в настоящее время мы вынуждены согласиться с иностранцами, что английская грамматика — величина, которой можно пренебречь. Английское произношение — камень преткновения на пути к прогрессу. Английское правописание, похоже, специально было придумано для того, чтобы слова читались неправильно. Ясно, что все делается с целью сбить спесь с иностранца, в противном случае он выучил бы английский за год.

В Германии система обучения языкам крайне отлична от нашей, в результате чего немецкий юноша или девушка, окончив в пятнадцать лет гимназию — так здесь называют среднюю школу, — могут понимать и говорить на том языке, которому обучались. У нас в Англии существует пока еще непревзойденный метод обучения иностранным языкам: при максимальных затратах времени и денег умудряются добиться минимальных результатов. Выпускник хорошей английской средней школы с большим трудом и крайне медленно может побеседовать с французом о садовницах и тетушках; если же ему попадется человек, у которого нет ни того ни другого, разговор тут же увянет. Встречаются отдельные яркие исключения, которые могут сказать, который час, и высказать пару осмысленных замечаний о погоде. Конечно же, наш выпускник без труда перечислит несколько десятков неправильных глаголов, но, к сожалению, мало кого из иностранцев это сможет заинтересовать. Помнит он и несчетное количество на диво неупотребительных французских выражений, которых современный француз не то что никогда не слышал, а просто не понимает.

В девяти случаях из десяти это объясняется тем, что он изучал французский по учебнику Ана «Французский язык для начинающих». История этого знаменитого пособия занятна и поучительна. Книга была написана одним остроумным французом, несколько лет прожившим в Англии. Автор сатирически высмеивал штампованный язык английского общества. С этой точки зрения, книга превосходна. Он предложил ее одному лондонскому издательству. Редактор был тертый калач. Он прочитал всю книгу. Затем пригласил автора.

— Вы написали, — сказал он, — очень умную книгу. Я смеялся до слез.

— Рад это слышать, — ответил польщенный француз. — Я хотел сказать всю правду, стараясь при этом никого не обидеть.

— Получилось просто великолепно, — согласился редактор, — однако, если пустить ее как сатиру, она не пойдет.

На лице автора выразилось недоумение.

— Ваш юмор сочтут натянутым и экстравагантным, — продолжал редактор. — Люди утонченного ума поймут вас, но их так мало, что и не стоит брать в расчет. Спросом ваша книга пользоваться не будет. Но у меня есть идея, — продолжал редактор. Он огляделся, как бы убеждаясь в том, что в комнате, кроме них, никого нет, наклонился к автору и прошептал:

— Я собираюсь издать ее как серьезный труд, как школьный учебник.

От изумления автор лишился дара речи.

— Я знаю нашего учителя, — сказал редактор, — эта книга ему очень понравится. Она точно соответствует его методе. Трудно найти еще что-нибудь глупей и бесполезней. Учитель набросится на вашу книгу, как щенок на кремовый торт.

Автор, принеся искусство в жертву Маммоне, согласился. Они придумали новое заглавие, добавили словарь, но содержание не тронули.

Что из этого вышло, знает каждый школьник. Учебник Ана стал библией английского филологического образования. Если сейчас он и не является столь универсальным, как в былые годы, то только потому, что были написаны другие, еще менее приемлемые для обучения пособия.

И все же если, несмотря ни на что, английский школьник и усвоит, пусть даже и из учебников, подобных руководству Ана, отрывочные знания французского, наша система образования готовит ему новые препоны в лице «джентльменов — носителей языка» — так они подают себя в газетной рекламе. Этот учитель-француз, который, как впоследствии выясняется, оказывается бельгийцем, является, безусловно, весьма достойным джентльменом и, надо отдать ему должное, превосходно понимает и довольно бегло изъясняется на своем родном языке. Иными талантами Господь его обидел. Неизменно вам попадается человек, обладающий крайне редкой неспособностью научить кого-либо чему-либо. Он призван не

столько обучать, сколько развлекать юношество. Это всегда комический персонаж. Ни одна английская школа ни за что не примет на работу француза, обладающего приличной внешностью. Чем в большей мере природа одарила его чертами, вызывающими беззлобную улыбку, тем большим спросом пользуется он у администрации. Ученики, естественно, смотрят на него как на ходячий анекдот. Уроки французского пользуются в школе успехом, которому позавидовали бы античные комедиографы. Ученики с нетерпением ожидают этих двух или четырех уроков в неделю, они вносят приятное разнообразие в монотонную школьную жизнь. А затем, когда гордый родитель вместе со своим сыном и наследником отправляются в Дьепп, где и выясняется, что его оболтус не может нанять извозчика, он принимается честить не систему, а ее невинную жертву.

Я ограничиваю свои наблюдения французским языком, потому что он — единственный, которому мы пытаемся обучать наших детей. Знание немецкого расценивается как измена Родине. Особо почитается полное незнание иностранных языков. Языками у нас владеют лишь журналисты, подвизающиеся в юмористических журналах, да авторы дамских романов. Для них это — хлеб насущный. Наше же незнание французского, чем мы так кичимся, делает нас посмешищем в глазах всего мира.

В немецкой школе метод обучения несколько отличен от нашего. Час в день отводится на изучение какого-нибудь иностранного языка. Смысл в том, чтобы не дать школьнику забыть то, чему его учили на прошлом уроке; смысл в том, чтобы он всегда шел вперед. Никому не приходит в голову приглашать для развлечения иностранца комической наружности. Избранный язык преподается учителем-немцем, который знает его не хуже родного. Возможно, при такой системе обучения юным немцам и не удается в тонкостях овладеть правильным произношением, чем по всему миру славятся английские туристы, но она имеет свои преимущества. Школьники не зовут своего учителя «лягушатником» или «немцем-перцем-колбасой» и не превращают урок английского или французского в состязание доморощенных остроумцев. Они просто сидят в классе и овладевают, без особого напряжения, всеми премудростями иностранного языка. Когда они кончают школу, то могут говорить — и не о садовниках, тетушках или перочинных ножах, а о европейской политике, истории, Шекспире, музыке, в зависимости от того, по какому руслу потечет беседа.

Я смотрю на немцев с точки зрения англосакса и, возможно, в своей книге пройдусь кое-где по их поводу, но, с другой стороны, у них есть многое, чему можно было бы поучиться, а что касается образования, они дадут нам сто очков форы и положат нас одной левой.

С юга и запада Ганновер окружен красивым лесом, который называется Айленриде, и здесь разыгралась печальная драма, главным действующим лицом которой оказался Гаррис.

В понедельник днем мы катались по лесу в компании многочисленных велосипедистов — в хорошую погоду это излюбленное место отдыха ганноверцев, — и тенистые дорожки были заполнены веселыми, беззаботными людьми. Среди прочих была и молодая очаровательная особа на новом велосипеде. Не составляло большого труда заметить, что в велосипедном спорте она — новичок. Сразу же стало ясно, что вскоре ей потребуется помощь, и Гаррис, со свойственным ему благородством, предложил нам держаться к ней поближе. У Гарриса, как он время от времени объясняет нам с Джорджем, есть дочери, а правильнее сказать, дочь, которая с течением времени перестанет играть в куклы и превратится в очаровательную юную леди. Поэтому Гаррис, естественно, не может равнодушно взирать на молодых и красивых девушек в возрасте до тридцати пяти лет или около того; они напоминают ему, как он говорит, о доме.

Мы проехали с пару миль и приблизились к месту, где сходились пять дорожек. На перекрестке стоял рабочий со шлангом и поливал дорожки водой. Кишка, к которой в местах многочисленных сочленений были приделаны колесики, напоминала гигантского червя; поливальщик двумя руками крепко держал его за шею, направляя то в одну сторону, то в

другую, то вверх, то вниз, а из разверстой пасти этого червя била мощная струя воды со скоростью один галлон в секунду.

— Куда более удобная технология, чем у нас, — с воодушевлением заметил Гаррис. Гаррис всегда относился ко всему британскому с известной долей скептицизма. — Куда проще, быстрее и экономичнее. Ясно, что при такой технологии один человек за пять минут обработает такую площадь, на которую у нас с нашей неповоротливой колымагой уйдет полчаса.

Джордж, сидя на тандеме за мной, сказал:

— Да, конечно. Это очень прогрессивная технология. Стоит поливальщику зазеваться, и он обработает изрядное количество людей, не успеют они и глазом моргнуть.

Джордж, в отличие от Гарриса, — британец до мозга костей. Я помню, как однажды Гаррис оскорбил патриотические чувства Джорджа, предложив ввести в Англии гильотину. «Это куда аккуратнее», — заметил Гаррис. «А мне на это плевать, — вспылил Джордж. — Я англичанин и хочу умереть на виселице».

— У наших колымаг, — продолжал Джордж, — возможно, немало недостатков. Но бояться следует только за ноги, да и то можно увернуться. А такая махина достанет тебя и за углом, и на втором этаже.

— Какое удовольствие наблюдать за здешними поливальщиками, — сказал Гаррис. — Вот уж действительно мастера своего дела. Я видел, как в Страсбурге поливали многолюдную площадь: был полит каждый дюйм, и хоть бы капля на кого попала! Глазомер у них превосходный. Они направят струю к носкам ваших ног, затем пустят ее над головой, да так, что вода будет падать за пятками. Они могут…

— Остановись-ка, — прервал его Джордж, обратившись ко мне.

— Зачем? — спросил я.

— Хочу слезть и досмотреть представление откуда-нибудь из-за дерева. Они большие мастера по этой части, если верить Гаррису, но этому артисту чего-то не хватает. Он только что выкупал собаку, а теперь принялся за указатель. Я хочу подождать, пока он закончит.

— Ерунда, — сказал Гаррис, — он тебя не заденет.

— Я в этом не очень уверен, — ответил Джордж, после чего спрыгнул, занял удобное место под роскошным вязом и стал набивать трубку.

Меня совсем не прельщала перспектива одному волочь тандем; я слез и присоединился к Джорджу, прислонив машину к дереву. Гаррис прокричал что-то насчет того, что такие типы, как мы, позорят Родину, и поехал дальше.

И тут я услышал отчаянный женский крик. Выглянув из-за ствола, я понял, что исходит он от вышеупомянутой молодой и элегантной дамы, о которой, отвлекшись на поливальщика, мы забыли. С непонятным упорством она продиралась сквозь мощную струю. По-видимому, она была слишком перепугана и не сообразила соскочить с велосипеда или свернуть в сторону. С каждой секундой она мокла все больше и больше, а человек с кишкой — он был либо пьян, либо слеп — продолжал хладнокровно поливать ее. Со всех сторон на него сыпались проклятья, но ему, казалось, ни до чего не было дела.

Гаррис, в котором взыграли отцовские чувства, поступил так, как и следовало бы поступить при сложившихся обстоятельствах. Действуй он с хладнокровием и осмотрительностью (в чем тщетно пытался нас потом убедить), стал бы героем дня и не пришлось бы ему, как это вышло на самом деле, позорно бежать под градом угроз и оскорблений. Без лишних раздумий он подлетел к поливальщику, соскочил на землю и, ухватившись за наконечник шланга, попытался им завладеть.

Ему следовало бы завернуть кран — так поступил бы каждый, у кого сохранилась хоть капля здравого смысла. После этого под аплодисменты сбежавшейся на помощь публики

можно было бы сыграть поливальщиком в футбол, воланы или какую-нибудь иную игру. Он же задумал, как впоследствии объяснял нам, отобрать у поливальщика шланг и, в качестве наказания, облить болвана с ног до головы. Поливальщик оказался малый не промах. Шланга Гаррису он, конечно же, не отдал, а наоборот, направил струю на нахала. Конечно же, в результате этой схватки все живое и неживое в радиусе пятидесяти ярдов промокло насквозь; на самих же бойцов и капли не упало. Какой-то человек, который настолько вымок, что терять ему было уже нечего, окончательно выйдя из себя, кинулся на арену и вступил в бой. Уже втроем они продолжали вращать шланг во все возможные стороны. Они направляли его в небо — и вода низвергалась на публику подобно весеннему ливню. Они направляли его в землю — и бурные потоки захлестывали людей до колен; иногда струя попадала под ложечку, отчего пораженный сгибался пополам.

Ни один из противников не выпустил из рук шланг, ни одному из них не пришло в голову выключить воду. В них проснулась какая-то первобытная сила. Через сорок пять секунд, как сказал Джордж, засекавший время, поблизости не осталось ни одной живой души, за исключением мокрой, как нимфа, собаки, — влекомая мощной струей, она перекатывалась с боку на бок и, тщетно пытаясь встать, грозно лаяла, вызывая на поединок, как ей, по-видимому, казалось, восставшие силы ада.

Мужчины и женщины, побросав велосипеды, ринулись в лес. Из-за каждого более или менее толстого ствола выглядывало мокрое разгневанное лицо.

Наконец нашелся разумный человек. Пренебрегая опасностью, он подполз к крану и завернул его. А затем из-за деревьев к месту происшествия стали стекаться люди, их было сорок, по числу деревьев; одни вымокли больше, другие меньше, но у каждого было что сказать.

Я уже начал подумывать, как нам удобнее будет доставить в отель останки Гарриса — на носилках или просто в бельевой корзине. Нужно отдать должное Джорджу — его проворство на этот раз спасло Гаррису жизнь. Джордж не вымок, и поэтому мог бегать быстро; он поспел раньше толпы. Гаррис хотел было все объяснить, но Джордж пресек эти поползновения.

— Садись, — сказал Джордж, вручая ему велосипед, — и гони. Они не знают, что мы с тобой, и будь спокоен, мы тебя не выдадим. Мы поедем следом и будем тебя прикрывать. Если станут стрелять, езжай зигзагами.

Я хочу, чтобы в этой книге были одни голые факты, описанные без прикрас, и поэтому, поведав вам историю, приключившуюся с Гаррисом, я старался изложить все как было, безо всяких преувеличений. Гаррис считает, что я дал волю своей фантазии, однако признает, что два или три человека были «слегка обрызганы». Я предложил ему встать под струю воды, направленную из шланга с расстояния двадцати пяти ярдов, и затем сказать, будет ли он считать себя «слегка обрызганным» или подыщет другое, более точное выражение, но он отказался от такого эксперимента. Опять же, он утверждает, что в аварию попало никак не больше полудюжины людей, и число сорок кажется ему странным. Я предложил ему вернуться в Ганновер и навести точные справки о пострадавших, но и это предложение он отклонил. Из сего можно смело заключить, что мое описание происшествия, о котором некоторые ганноверцы с содроганием вспоминают и по сей день, является правдивым и беспристрастным.

В тот же вечер мы выехали из Ганновера и вскоре были в Берлине, где поужинали и отправились гулять. Берлин разочаровывает: в центре от людей некуда деваться, окраины же пустынны; единственная достопримечательность — улица Утер-ден-Линден — представляет собой смесь Оксфорд-стрит с Елисейскими Полями и не производит никакого впечатления: для ее длины она слишком широка; берлинские театры изысканны и очаровательны, актерской игре там уделяется большее внимание, чем декорациям и костюмам; репертуар их часто меняется; пьесы, пользующиеся успехом, идут, конечно, не один раз, но и не каждый день, так что в одном театре на протяжении целой недели каждый вечер дают новую пьесу; опера не

заслуживает внимания; есть два мюзик-холла, но спектакли их не отличаются особым вкусом, а зачастую просто вульгарны, зрительные залы слишком велики, а потому и неуютны. В берлинских ресторанах и кафе самое оживленное время — с полуночи до трех утра, хотя большинство завсегдатаев засиживаются до семи. Или берлинец сумел разрешить самую злободневную проблему нашего времени — как обойтись без сна, или он стремится приблизить час, когда настанет вечное блаженство.

Лично я не знаю другого города, где позднее время было бы столь же модно, за исключением Санкт-Петербурга. Но петербуржцы не встают рано утром. В Санкт-Петербурге представления в мюзик-холлах, которые принято посещать после театра (от театра до мюзик-холла с полчаса езды в легких санях), начинаются не раньше двенадцати. В четыре утра через Неву буквально не проехать, не пройти; а самые популярные среди путешественников поезда отходят в пять утра. Эти поезда спасают русского от необходимости вставать рано. Он желает своим друзьям «спокойной ночи» и после ужина со спокойной совестью едет на вокзал, не доставляя домашним излишних хлопот.

Потсдам, берлинский Версаль, — красивый городок, расположенный среди лесов и озер. Здесь, на тенистых дорожках большого тихого парка Сан-Суси, легко можно себе представить, как тощий высокомерный Фридрих «прогуливался» со строптивым Вольтером.

Я уговорил Джорджа с Гаррисом не задерживаться в Берлине, а двинуться в Дрезден. Половину, а то и больше из того, что может предложить Берлин, вы увидите и в других местах, поэтому мы решили ограничиться экскурсией по городу. Портье порекомендовал нам извозчика, который, как он нас заверил, быстренько покажет нам все достопримечательности. Сам по себе извозчик, заехавший за нами в девять, был сущим кладом. Это был умный, сообразительный, хорошо знающий город человек; его немецкий мы легко понимали, он немного знал по-английски, что нам также помогало. Извозчик был выше всяких похвал, но его лошадь оказалась самой бессердечной скотиной, на которой мне только приходилось ездить.

Она невзлюбила нас с первого взгляда. Она повернула голову в мою сторону, окинула холодным презрительным взглядом, а затем переглянулась с другой лошадью, своей приятельницей, стоявшей поблизости. Я понимал ее чувства. Все у нее было написано на морде, она ничего не пыталась скрыть. Она сказала:

— Что за чучела наезжают к нам летом?

Через секунду появился Джордж и встал у меня за спиной. Лошадь опять оглянулась. Никогда не встречал лошади, которая бы так вертелась. Я видел, что проделывает со своей шеей верблюд, — зрелище, достойное внимания, — но это животное выкидывало такие фортели, каких не увидишь и в кошмарном сне. Я не удивился бы, увидев, что она просунула голову между задних ног и смотрит на меня. Похоже, что Джордж поразил ее еще больше, чем я. Она опять повернулась к своей подружке.

— Нечто из ряда вон выходящее, — заметила она. — Должно быть, есть какой-то питомник, где их разводят.

И она принялась слизывать мух, сидящих у нее на левой лопатке. Должно быть, она рано лишилась родителей и была отдана на воспитание кошке.

Мы с Джорджем забрались в дрожки и стали поджидать Гарриса. Вскоре он появился. По-моему, одет он был весьма прилично. На нем был белый фланелевый костюм с никербокерами, который он специально заказал для жаркой погоды; шляпа могла показаться оригинальной, но все же защищала от солнца.

Лошадь посмотрела на него и сказала: «Lieber Gott!»[2] — со всей членораздельностью, на какую только способна лошадь, и рысцой потрусила по Фридрихштрассе, оставив Гарриса с извозчиком на тротуаре. Хозяин велел ей остановиться, но она не обратила на него никакого внимания. Хозяин с Гаррисом побежали за нами и нагнали на углу Доротеенштрассе. Я не

понял всего, что сказал извозчик лошади, — говорил он быстро и возбужденно, — но кое-какие фразы я уловил, например: «А как я семью кормить буду?», «А тебе какое дело?», «Да ты знаешь, почем нынче овес?»

Лошадь сама собой повернула на Доротеенштрассе, не желая более препираться. Последнее, что она сказала, было:

— Ну что ж, делать нечего, поехали. Но ты уж постарайся отделаться от них побыстрей и, Бога ради, держись подальше от центра, а то стыда потом не оберемся!

Напротив Бранденбургских ворот наш извозчик привязал поводья к кнуту, слез с козел и стал прохаживаться, объясняя нам, что есть что. Он показал, где находится Зоологический сад, и стал расхваливать нам здание Рейхстага. Как заправский гид, он сообщил его точные размеры по высоте, длине и ширине. Затем он обратил внимание на ворота. Он сказал, что сооружены они из песчаника и построены в стиле афинских «портоплеев».

При этих словах лошадь, от нечего делать лизавшая свои ноги, повернула голову. Она ничего не сказала, она просто посмотрела.

Наш извозчик засуетился. Он поправился и сказал, что они построены в стиле «портфелеев».

При этом лошадь тронулась и потрусила. Хозяин пытался ей что-то втолковать, но она продолжала свою рысь. Судя по тому, как она презрительно повела лопатками, прежде чем тронуться с места, я понял, что она сказала:

— Ведь они уже посмотрели ворота? Ну и хватит с них. А что до остального, ты сам не понимаешь, что за чушь несешь; да они тебя и не понимают. Ты же говоришь на немецком.

И покуда мы ехали по Линден, поведение этой кобылы не менялось. Она милостиво соглашалась постоять, пока мы осматривали достопримечательность и узнавали, как она называется. Но все описания и разъяснения она решительно прерывала, трогаясь дальше.

«Эти типы, — казалось, говорила она про себя, — приедут домой и будут хвастаться, что все это они видели собственными глазами. Большего им не надо. Если я плохо о них думаю и они умней, чем кажутся, они почерпнут куда больше сведений из путеводителя, чем от моего старого идиота. Кому надо знать, какой высоты эта колокольня? Через пять минут это забудется, а если и не забудется, то потому, что ничего другого не запомнилось. Как он мне надоел своей болтовней! Уж лучше поскорей все закончить и всем ехать по домам обедать».

Теперь-то, обо всем хорошенько поразмыслив, я готов признать, что кое в чем эта скотина была права. Признаться, попадались мне такие гиды, что был бы рад вмешательству лошади.

Но человек — существо неблагодарное, и тогда мы кляли эту лошадь на чем свет стоит, вместо того чтобы на нее молиться.

Глава VII

Любовь немцев к порядку. — «Оркестр дроздов из Шварцвальда начнет свое выступление в семь». — Фарфоровая собачка. — Ее превосходство над другими породами собак. — Немцы и Солнечная система. — Аккуратная страна. — Горная долина: какой она должна быть с точки зрения немцев. — Как вода пришла

в Германию. — Скандал в Дрездене. — Гаррис предлагает развлечение. — Мы отклоняем его предложение. — Джордж и его тетушка. — Джордж, подушка и три барышни из магазина

На полпути из Берлина в Дрезден Джордж, который последние четверть часа не отрывался от окна, сказал:

— Что за странный обычай у этих немцев вешать почтовый ящик на дерево? Почему бы не прибить его к входной двери, как у нас? Что за радость каждый день карабкаться на дерево за письмами? Кроме того, это доставляет немало хлопот почтальону. Мало того, что для человека полного это занятие весьма утомительно, при сильном ветре он прямо-таки рискует жизнью. Если им так нравится прибивать ящик к дереву, то почему бы не прибить его пониже, почему обязательно к самой верхушке? Но, возможно, я ошибаюсь в своих оценках, — продолжал он; новая мысль пришла ему в голову. — Скорее всего, немцы, обскакавшие нас во многих отношениях завели у себя голубиную почту. Но даже и в этом случае следует признать, что они поступили бы мудрее, приучив птиц, если уж на то пошло, доставлять письма куда-нибудь поближе к земле. Даже для среднего немца, еще не старого, достать письма из ящика — дело хитрое. Разглядев то, что он принял за почтовые ящики, я сказал:

— Это не почтовые ящики, это птичьи домики. Ты должен понять этот народ. Немец любит птиц, но он любит аккуратных птиц. Если птицу предоставить самой себе, она совьет гнездо там, где ей взбредется. Это некрасиво, если исходить из немецкого представления о красоте. Кисть маляра гнезда и не касалась, нет ни гипсовой фигурки, ни даже флажка. Свив гнездо, птица продолжает жить и вне его. Она сорит на траву: прутики, объедки червяков и все такое прочее. Она дурно воспитана. Она влюбляется, ссорится с мужем, кормит птенцов — и все это на людях. Немец-домохозяин шокирован. Он говорит птахе:

— Многим ты мне хороша. Смотреть на тебя — одно удовольствие. Поешь ты красиво. Но вести себя не умеешь. Вот тебе ящичек, и складывай туда весь мусор, чтобы я его не видел. Захочется попеть — милости прошу; но чтобы все ваши семейные дрязги из дома не выходили. Сиди себе в ящичке и не мусори мне в саду.

В Германии любовь к порядку впитывается с молоком матери; в Германии младенцы погремушками отбивают часы, и немецкой птичке в конце концов ящичек пришелся по нраву, и она с презрением относится к тем немногочисленным неорганизованным отщепенцам, которые продолжают вить гнезда в кустах и на деревьях. Можете быть уверены: со временем каждой немецкой Птичке будет отведено место в общем хоре. Их разноголосые и неупорядоченные трели раздражают немцев, ценящих единообразие, — в этих трелях нет системы. Любящий музыку немец организует их. Птицу посолиднее с хорошо поставленным голосом научат дирижировать и вместо того, чтобы без толку заливаться в лесу в четыре утра, птицы в точно указанное в программе время будут петь где-нибудь в саду отдыха под аккомпанемент фортепиано. Все идет к этому.

Немец любит природу, но природа в его представлении — это знаменитая Валлийская арфа. Своему саду он уделяет много внимания. Он сажает семь розовых кустов с северной стороны и семь — с южной, и, если они выросли неодинаковыми по размеру и форме, он начинает так беспокоиться, что теряет сон. Каждый цветок подвязывается к колышку. Природная красота цветка теряется, но он доволен, сознавая, что цветок на своем месте и ведет себя прилично. Пруд по краям выложен цинком, и раз в неделю этот цинк снимается, относится в кухню, где и драится до блеска. В геометрическом центре газона (пусть сам газон не больше скатерти, он почти всегда окружен заборчиком) он водружает фарфоровую собачку.

Немцы очень любят собак, но собаки эти, как правило, фарфоровые. Фарфоровая собачка никогда не станет рыть в газоне ямы, чтобы спрятать там косточку, и ни за что не разорит цветочную клумбу. С точки зрения немцев, это идеальная порода. По заказу вам изготовят собаку, по всем статьям отвечающую требованиям общества собаководов; но вы можете пофантазировать и заказать нечто уникальное. Скрещивайте любые породы — собаководы стерпят такое кощунство. Вы можете заказать собаку с голубым или розовым окрасом. За небольшую дополнительную плату вам изготовят двуглавого пса.

Осенью в определенный, раз и навсегда установленный день немец пригибает свои цветы и кусты к земле и укутывает их на зиму циновками; весной в определенный, раз и навсегда установленный день он убирает циновки и снова распрямляет цветы. Если случается на редкость дивная осень или на редкость поздняя зима, тем хуже для несчастного растения. Ни один истинный немец не позволит, чтобы заведенный порядок нарушался такой неуправляемой штукой, как Солнечная система.

Из деревьев немец больше всего любит тополь. Другие неорганизованные народы могут воспевать могучий дуб, развесистый каштан, поникший вяз. Немцу все эти своенравные, дурно воспитанные деревья режут глаз. Другое дело тополь. Он растет там, где его посадили, и так, как его посадили. Ему и в голову не придет своевольничать. Ветвиться и поникать ему не хочется. Он растет прямо и строго по вертикали, как и положено немецкому дереву; поэтому немцы потихоньку выкорчевывают все остальные деревья, а на их место сажают тополя.

Наш немец любит природу, но он, подобно даме, считает, что одетый дикарь выглядит приличней. Он любит гулять по лесу — к трактиру. Но тропинка должна быть пологой, на ней не должно быть луж, для чего по сторонам следует провести сточные канавки и выложить их кирпичом, а через каждые ярдов двадцать должна быть скамеечка, на которую можно присесть и вытереть пот со лба, ибо скорее вы увидите англиканского епископа, съезжающего с ледяной горки, чем немецкого бюргера, сидящего на траве. Немцу нравится вид, открывающийся с холма, но ему надо, чтобы здесь были установлены скрижали, указующие, на что смотреть, а также скамейка и столик, за которым он сможет выпить бутылочку недорогого пива и закусить belegte Semmel,[3] который он предусмотрительно прихватил с собой. А если он еще обнаружит на дереве объявление, воспрещающее ему делать то-то и то-то, он почувствует себя на верху блаженства…

Нельзя сказать, чтобы наш немец совсем уж не любил дикую природу, если, конечно, она не слишком дика. Но если уж она покажется ему чересчур дикой, он употребит все свои силы, чтобы приручить ее. Помнится, в окрестностях Дрездена я набрел на живописную узкую долину, выходящую к Эльбе. Тропинка повторяла изгибы горного ручья, который целую милю, шумя и пенясь, бежал меж скал и валунов вдоль берегов, поросших лесом. Очарованный, я шел по тропинке, как вдруг за поворотом наткнулся на толпу рабочих. Их было человек восемьдесят, если не все сто. Они приводили в порядок долину и придавали потоку приличный вид. Все камни, мешающие течению, выбирались, грузились на телеги и вывозились. Противоположный берег выкладывался кирпичом и цементировался. Склонившиеся над водой деревья и кусты, кудрявый виноград и вьющиеся растения выкорчевывались и подрезались. Чуть ниже по течению работы уже были закончены: передо мной предстала горная долина, какой она должна быть с точки зрения немца. Бывший ручей, а ныне широкая медленная река, вяло тек по ровному, засыпанному гравием руслу между двух стен, увенчанных каменными карнизами. Через каждые сто ярдов к воде спускались пологие ступеньки. Берега были расчищены, на место диких деревьев через правильные интервалы были посажены молодые топольки. Каждый саженец был огорожен и подвязан к железному пруту. Местные власти лелеют надежду, что через пару лет с долиной будет покончено на всем ее протяжении и приученные к порядку любители природы смогут беспрепятственно здесь прогуливаться. Через каждые пятьдесят ярдов будет скамеечка, через каждые сто — правила поведения отдыхающих, а через каждые полмили — трактир.

То же самое творится от Мемеля до Рейна. Страну приводят в порядок. Я хорошо помню Верталь. Некогда это был самый романтический ручей в Шварцвальде. Когда я бродил по его берегам в последний раз, несколько сот рабочих-итальянцев в поте лица учили маленького непослушного Вера, как ему себя вести. Там заковывали его берега в камень, там взрывали скалы на его пути, там возводили цементные ступеньки, по которым он может спуститься чинно и без шума.

В Германии не болтают всякую чушь насчет того, что не следует тревожить природу. В Германии природа должна вести себя хорошо, а не показывать детям дурной пример. Немецкому поэту придется не по нраву манера, в какой вода приходит в Ладор. Искристость и серебристость бегущих струй ошарашит его. Он не остановится, зачарованный шумом воды, и не сложит о ней аллитерированных строф, подобно Саути.[4] Он убежит от нее и тут же донесет в полицию. И тогда недолго ей пениться и кипеть.

— Так-так-так, что здесь такое происходит? — суровым голосом представитель власти обратится к воде. — Почему нарушаем? Вы что, не знаете, что это не разрешается? Вы что, не можете низвергаться спокойно? Вы что, не понимаете, где находитесь?

И местные немецкие власти тут же запрячут эту воду в цинковые трубы, пустят по деревянным лоткам, обставят винтовыми лестницами и покажут ей, как в Германии должна низвергаться приличная вода. Аккуратная страна эта Германия.

Мы прибыли в Дрезден в среду вечером и пробыли там до воскресенья.

Можно сказать, что Дрезден — город, привлекательный во всех отношениях; но лучше пожить здесь некоторое время, чем просто посетить его. Его музеи, галереи, дворцы и прекрасные, богатые историческими парками пригороды доставят вам удовольствий на целую зиму, но за неделю вы ничего не успеете посмотреть. Он не столь оживлен, как Париж или Вена, которые быстро приедаются; он, как и все в Германии, очаровывает глубже и надолго. Это Мекка любителей музыки. В Дрездене билет в партер можно приобрести за пять шиллингов, но, к сожалению, после этого вас ни за какие деньги не заставишь высидеть до конца весь спектакль в оперных театрах Англии, Франции или Америки.

Все дрезденские сплетни до сих пор вертятся вокруг Августа Сильного, или, как его окрестил Карлейль, «человека греха», который, согласно народной молве, увеличил население Европы более чем на тысячу человек. Замки, где томилась в заключении та или иная его отвергнутая возлюбленная, имевшая неосторожность претендовать на более высокий титул (говорят, одна томилась там сорок лет, бедняжка!), тесные комнаты, где не выдержало ее исстрадавшееся сердце и она умерла, — их показывают и по сей день. Замки, которым стыдно за столь низменный поступок, совершенный в их стенах, в изобилии разбросаны по окрестностям Дрездена, подобно костям павших на поле брани; большинство историй, которые вам поведает гид, таковы, что «молодой особе», воспитанной в немецком духе, лучше их не слушать. Портрет Августа в полный рост висит в великолепном музее, бывшем Цвингере,[5] который он специально построил для звериных потех, когда горожанам приелись кустарные представления рыночной площади; этот чернобровый, звероподобный мужчина был, безусловно, культурным человеком с развитым вкусом, что часто побеждало в нем низменные инстинкты.

Современный Дрезден, вне всяких сомнений, многим ему обязан.

Но, пожалуй, больше всего в Дрездене иностранца поражает электрический трамвай. Эти огромные экипажи мчатся по улице со скоростью от десяти до двадцати миль в час, поворачивая с лихостью ирландского извозчика.

Ими пользуются все, кроме офицеров при мундире, — им это запрещено. Дамы в вечерних туалетах, спешащие на бал, разносчики со своими корзинами сидят бок о бок. Трамвай — самый важный объект на улице, и все спешат уступить ему дорогу. Если вы зазевались и при

этом умудрились остаться в живых, после выздоровления вас ждет штраф именно за то, что не пропустили его. Так вас учат не ловить ворон.

Однажды после обеда Гаррис решил самостоятельно прокатиться на трамвае. Вечером, когда мы сидели в «Бельведере» и слушали музыку, Гаррис без всякого на то повода сказал:

— У этих немцев начисто отсутствует чувство юмора.

— С чего ты взял? — спросил я.

— Сегодня, — ответил он, — я вскочил в один из этих трамваев. Я хотел посмотреть город и остался стоять снаружи на этой площадочке, как она там называется?

— Stehplatz,[6] — подсказал я.

— Пусть будет так, — сказал Гаррис. — Ну, вы, наверное, знаете, там основательно трясет, и нужно остерегаться острых углов и быть начеку при отправлении и остановках.

Я кивнул.

— Было нас там человек пять, — продолжал он, — а опыта у меня, конечно, никакого. Трамвай внезапно рванул с места, и я отлетел назад. Я упал на солидного господина, что стоял за мной. Он, в свою очередь, не удержался и опрокинулся на мальчика с трубой в зеленом байковом чехле. И никто из них даже не улыбнулся: ни господин, ни мальчик с трубой; они стояли как ни в чем не бывало и хмуро смотрели в сторону. Я уж было собрался извиниться, но тут трамвай почему-то затормозил, я, естественно, полетел вперед и уткнулся прямо в седовласого старичка, по виду профессора. И что же? Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Может, он был занят своими мыслями? — предположил я.

— Ну а другие что? — ответил Гаррис. — Ведь пока я не вышел, на каждого из них упал раза по три. Дело в том, — продолжал Гаррис, — они знают, когда будет поворот и в какую сторону им наклоняться. Я же, как иностранец, оказался в невыгодном положении. Меня мотало, бросало, я цеплялся то за одного, то за другого, и это действительно было смешно. Не скажу, чтобы это был юмор высокого класса, но у большинства я бы вызвал смех. Но немцы не заметили в этом ничего смешного. Был там один коротышка, он стоял у тормоза. Я, по моим подсчетам, падал на него пять раз. Вы уже решили, что на пятый раз он не выдержал и стал смеяться до упаду? Не тут-то было. Он лишь измученно посмотрел на меня. Скучные люди.

В Дрездене Джордж также угодил в историю. У Старого рынка помещался магазинчик, в витрине которого на продажу были выставлены подушечки. В основном магазин торговал стеклом и фарфором, подушечки были выставлены так, на пробу. Это были очень красивые подушечки: атласные, ручной работы. Мы частенько проходили мимо магазина, и всякий раз Джордж с вожделением на них поглядывал. Он сказал, что такой подарок наверняка придется по душе его тетушке.

Во время путешествия Джордж был очень внимателен к своей тетушке. Каждый день он писал ей длинные письма, а из каждого города, в котором мы останавливались, отправлял по почте какой-нибудь подарок. Мне это показалось чрезмерным, и я неоднократно пытался ему это втолковать. Наверняка его тетушка встречается с другими тетушками и болтает с ними о том о сем; наверняка она похваляется своим замечательным племянником. Как племянник я категорически против обычая, заведенного Джорджем. Но ему что говори, что нет.

Итак, однажды в субботу после обеда он бросил нас на произвол судьбы, а сам отправился покупать подушечку для своей тетушки. Он сказал, что уходит ненадолго, и попросил нас подождать его.

Но ждать пришлось долго. Наконец Джордж явился. В руках у него ничего не было, а на лице была написана тревога. Мы спросили, где же подушечка. Он сказал, что подушечка больше не нужна, что он передумал, что он решил, что тетушке подушечка не понравится. Что-то здесь было не так. Мы попытались докопаться до истины, но ничего не вышло. Когда число заданных ему вопросов перевалило за двадцать, он стал отвечать не по существу.

Однако вечером, когда мы остались с ним наедине, он сам рассказал мне, что с ним приключилось. Он сказал:

— Какие-то они странные, эти немцы.

— Ты это про что? — спросил я.

— Да все про подушечку, — ответил он, — которую я собирался купить.

— Для тети, — уточнил я.

— Да, для тети! — взорвался он. Он весь кипел от ярости; никогда я не видел, чтобы упоминание о тете так выводило человека из себя. — Почему бы мне не послать подушечку своей тете?

— Успокойся, — ответил я. — Высылай на здоровье, я тебя за это очень уважаю.

Он взял себя в руки и продолжал:

— В витрине, как ты помнишь, было выставлено четыре подушечки, очень похожие друг на друга; на каждой — ярлычок, на котором черным по белому написана цена — двадцать марок. Не стану утверждать, что бегло говорю по-немецки, но обычно меня понимают, да и я смогу разобрать, что мне говорят, если, конечно, не тараторят как сороки. Я зашел в магазин. Ко мне подошла молоденькая продавщица, хорошенькая, скромная, я бы даже сказал, робкая. Такого я от нее не ожидал. Я просто поражен!

— Чем поражен? — сказал я.

Джорджу всегда кажется, что вам известен конец истории, которую он начал рассказывать; это выводит из себя.

— Тем, что произошло, — ответил Джордж. — Тем, о чем я тебе рассказываю. Она этак застенчиво улыбнулась и спросила, что мне угодно. Я выложил на прилавок двадцать марок и сказал: «Будьте добры, подушечку». Она уставилась на меня так, будто я требовал пуховую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повторил громче. Пощекочи я ей шейку, она была бы меньше удивлена и обижена.

Она сказала, что я, должно быть, ошибся.

Мне не хотелось вступать с ней в пререкания, словарный запас мой не богат. Я сказал, что ошибки быть не может. Я показал на двадцать марок и повторил в третий раз, что мне нужна подушечка, «подушечка за двадцать марок».

Вышла другая девушка, постарше; первая продавщица повторила ей то, что я сказал; мои слова, показалось, смутили ее. Вторая продавщица ей не поверила: по ее мнению, я не похож на человека, которому требуется подушечка. Чтобы убедиться в этом, она самолично спросила меня: «Вы сказали, вам нужна подушечка?» — «Я уже три раза говорил, что мне нужно, — ответил я. — Что ж, повторю еще разок». — «В таком случае ничего вы не получите».

На этот раз я рассердился. Будь подушечка мне не столь необходима, я бы попросту ушел из магазина; но подушечки на витрине были выставлены явно на продажу. Мне было непонятно, почему это я ничего не получу «Нет, получу!» Это простое предложение. Я произнес его весьма решительно.

Тут подошла третья девушка — собрался весь обслуживающий персонал. Эта третья была такая быстроглазая, пухленькая. При других обстоятельствах она бы мне понравилась, но тогда ее появление лишь разозлило меня. Мне было непонятно, что им троим здесь надо.

Первые две стали объяснять третьей, в чем дело, и, еще не дослушав до конца, та стала хихикать — этакая хохотушка. Затем они затрещали как сороки, все втроем, и через каждые пять-шесть слов поглядывали на меня; и чем больше они на меня смотрели, тем больше хихикала третья девушка; а потом стали хихикать и первые две идиотки; можно было подумать, я клоун и даю им бесплатное представление.

Наконец третья девушка успокоилась и подошла ко мне, не переставая хихикать. «Если вы получите, что хотите, то уйдете?» Я не сразу ее понял, и она повторила: «Подушечка. Если вы получите подушечку, вы уйдете из магазина — сейчас же?»

Я с радостью ушел бы, о чем и сообщил ей. Но я добавил, что без того, за чем пришел, не уйду. Буду стоять здесь до поздней ночи, но своего добьюсь.

Она вернулась к двум другим продавщицам. Я уже было подумал, что сейчас мне вынесут подушечку и делу конец. Но тут произошло нечто странное. Две продавщицы встали за спиной первой девушки; все три хихикали, Бог весть почему, и стали подталкивать ее ко мне. Они толкнули ее на меня, и, прежде чем я успел понять, что происходит, она положила мне руки на плечи, приподнялась на носочках и поцеловала меня. После чего убежала, спрятав лицо в фартук; за ней убежала и вторая девушка. Третья открыла мне дверь, выпроваживая на улицу, и я, стыду своему, ушел, забыв на прилавке двадцать марок. Не стану врать, кое-какое удовольствие я испытал, хотя нужен мне был совсем не поцелуй, а подушечка. Я ничего не могу понять.

— А что ты просил? — поинтересовался я.

— Подушечку, — ответил Джордж.

— Что ты хотел попросить, я знаю. Меня интересует, как ты назвал ее по-немецки?

— Kuss.

— Пеняй на себя. Есть два немецких слова — Kuss и Kissen. Так вот, Kuss — это «поцелуй», а Kissen — это «подушечка», хотя по-английски все наоборот. Многие путают эти два слова — не ты первый, не ты последний. Ты попросил поцелуй за двадцать марок — ты и получил его. Судя по описанию девушки, он того стоит. Но, как бы то ни было, Гаррису я об этом не скажу. Насколько мне известно, у него тоже есть тетя.

Джордж согласился, что Гаррису лучше ничего не говорить.

Глава VIII

Мистер и мисс Джоунс из Манчестера. — Достоинства какао. — Совет Комитету борьбы за мир. — Окно как аргумент в богословском споре. — Любимое развлечение христиан. — Язык гидов. — Как починить разрушенное временем. — Джордж пробует содержимое пузырька. — Судьба любителя немецкого пива. — Мы с Гаррисом решаем сделать доброе дело. — Ничем не примечательная статуя. — Гаррис и его друзья. — Рай без перца. — Женщины и города

Мы отъезжали в Прагу и томились в огромном зале Дрезденского вокзала, дожидаясь часа, когда железнодорожные власти разрешат нам пройти на перрон. Джордж, который был послан за билетами, вскоре вернулся. Глаза его бешено блестели.

— Я видел! — выпалил он.

— Что видел? — спросил я.

Он был слишком возбужден, чтобы изъясняться членораздельно. Он пробормотал:

— Здесь. Идет сюда, оба идут. Сидите на месте, сами увидите. Я не шучу; все это настоящее!

В то лето, как и всегда в этот сезон, в газетах стали появляться заметки, более или менее правдоподобно описывающие встречу с морским змеем, и на какой-то миг мне показалось, что Джордж говорит о нем. Но тут же я понял, что, как это ни печально, в центре Европы, за триста миль от моря морского змея нам не увидеть. Не успел я уточнить, что же именно Джордж имеет в виду, как он вцепился мне в руку.

— Ага! — сказал он. — Ну что? А вы не верили!

Я повернулся и увидел то, что мало кому из живущих ныне англичан посчастливилось увидеть, — британских туристов, какими их представляют себе в Европе. Они направлялись в нашу сторону, были они из плоти и крови — если это, конечно, был не сон, — живые, осязаемые английский «милорд» и его «мисс», в том виде, в каком они десятилетиями не сходят со страниц европейских юмористических журналов и подмостков оперетт. Все в них было совершенно, до последней детали. Мужчина был высок и тощ, с белесыми волосами, огромным носом и большущими бакенбардами. Поверх костюма цвета соли с перцем на нем было легкое пальто, доходившее почти до пят. Белый шлем был украшен зеленой вуалью; на боку болтался театральный бинокль, а рука в лиловой перчатке сжимала альпеншток, который был чуть длиннее его самого. Его дочь была этакой угловатой дылдой. Описать ее платье я не берусь, у моего дедушки, Царство ему Небесное, это получилось бы лучше; он знал, как называются все эти финтифлюшки. Единственное, что могу сказать по этому поводу, — было то платье слишком коротко и открывало пару лодыжек, чего — простите за грубый натурализм — из эстетических соображений делать не следовало бы. Шляпка ее была из тех, что принято называть «прощай, молодость». Обута она была в мягкие башмаки — где-то я читал о каких-то «прюнельках», должно быть, это они и были, — митенки и пенсне. И у нее в руке был альпеншток (до ближайшей горы от Дрездена сто миль), а через плечо была перекинута черная сумка. Зубы у нее выдавались вперед, как у кролика, а издалека казалось, что она стоит на ходулях.

Гаррис бросился искать фотокамеру и, конечно же, не смог ее найти: он всегда теряет ее, когда она требуется. Когда мы видим, что Гаррис мечется как угорелый и вопит: «Где моя камера? Куда, черт побери, она запропастилась? Вы что, не можете вспомнить, куда я ее положил?» — мы уже знаем, что впервые за весь день Гаррису попалось нечто, достойное быть запечатленным на пластинку. Позже он вспоминает, что она в сумке: в таких случаях она всегда там оказывается.

Да что внешность? Они разыграли все как по нотам. Они шли, поминутно оглядываясь. У джентльмена в руке был открытый бедекер, а леди сжимала разговорник. Они говорили на французском, которого никто не понимал, и на немецком, которого не понимали они сами. Мужчина, желая привлечь внимание железнодорожного служащего, ткнул его альпенштоком, а леди, заметив рекламу какого-то какао, сказала: «Возмутительно!» — и отвернулась.

Тут ее легко понять. Вы, наверное, заметили, что даже в чопорной Англии леди, пьющая какао, не требует от жизни многого — какой-нибудь ярд прозрачной кисеи, если судить по рекламным плакатам. В Европе ей жить и того легче, ей вообще ничего не надо. По замыслу производителей какао, этот напиток должен заменить не только еду и питье, но и одежду. Но это к слову.

Конечно же, они сразу оказались в центре внимания. Я поспешил к ним на помощь, и мне удалось завязать с ними разговор. Они были крайне вежливы. Джентльмен сообщил мне, что зовут его Джоунс, сам он из Манчестера; но у меня сложилось впечатление, что он не знает,

где он там живет и вообще где находится этот самый Манчестер. Я спросил, куда он направляется, но он и сам толком не знал. Он сказал, что это будет зависеть от обстоятельств. Я спросил, не кажется ли ему, что альпеншток довольно-таки неудобная вещь для прогулок по оживленному городу; он согласился со мной, признавшись, что частенько об него спотыкался. Я спросил, хорошо ли видно сквозь вуаль; он объяснил, что опускает ее лишь тогда, когда сильно надоедает мошкара. Я поинтересовался, не боится ли леди, что ей надует, ведь ветры здесь холодные; он сказал, что да, она неоднократно жаловалась на это. Я не задавал эти вопросы по порядку в той последовательности, что я привожу; я ловко ввернул их в нашу беседу, так что расстались мы друзьями.

Я много размышлял над этим явлением, но так ни до чего и не додумался. Приятель, которого я позже встретил во Франкфурте и которому описал эту парочку, скачал, что видел их в Париже, три недели спустя после Фашодского инцидента, а один англичанин из Страсбурга, где он представлял интересы какого-то нашего сталелитейного завода, вспомнил, что видел их в Берлине в дни всеобщего возмущения нашим вторжением в Трансвааль. Из этого я заключил, что это были безработные актеры, нанятые для поддержания мира во всем мире. Министерство иностранных дел Франции, желая поунять гнев толпы, требующей немедленной войны с Англией, разыскало эту очаровательную парочку и пустило ее гулять по городу. В человека, вызывающего у вас смех, стрелять невозможно. Французская чернь увидела английского гражданина и английскую гражданку — не на карикатуре, а живьем, и негодование сменилось весельем. Успех окрылил их, и они предложили свои услуги германскому правительству — результат оказался потрясающим, в чем мы сами могли убедиться.

Наши власти могли бы извлечь из этого хороший урок. Можно было бы где-нибудь неподалеку от Даунинг-стрит[7] держать пару-тройку коротеньких толстеньких французиков и в случае обострения отношений с Францией пускать их разгуливать по стране. Они бы размахивали руками, пожимали плечами и уплетали лягушек. А то еще можно навербовать взвод нечесаных белокурых немцев. Они бы важно расхаживали по улицам и покуривали свои длинные трубки, приговаривая: «So».[8]

Публика будет помирать со смеху и кричать: «Это с кем воевать? С ними, что ли? Чушь!» Если правительству мой план не понравится, я предложу его Комитету борьбы за мир.

Мы решили подольше задержаться в Праге. Прага — один из самых интересных городов в Европе. Каждый ее камень дышит историей. Нет такого предместья, где в свое время ни кипел бой. В этом городе вынашивалась реформация и подготавливалась Тридцатилетняя война. Но, как мне кажется, не будь пражские окна столь огромны и соблазнительны, городу удалось бы избежать половины бед, выпавших на его долю. Первая из этих грандиозных катастроф началась с того, что в окна пражской ратуши на копья гуситов были сброшены семь советников-католиков. Несколько позже из окон пражского замка на Градчанах полетели имперские советники — так началась вторая пертурбация. Правда, затем в Праге не раз выносились роковые решения, но, поскольку они обходились без жертв, решались эти вопросы, надо полагать, в подвалах. Окно как последний аргумент в споре всегда казалось истинному пражанину чересчур соблазнительным.

В Тейнкирхе стоит скромная кафедра, с которой проповедовал Ян Гус. Сегодня с этого же амвона можно слышать голос священника-паписта, а в далекой Констанце, на том месте, где когда-то были заживо сожжены Гус и Еремия, в их память установлен дикий камень, до половины увитый плюшом. История порой любит выкидывать такие шутки. В той же Тейнкирхе похоронен Тихо Браге, астроном, который, подобно многим, ошибочно полагал, что Земля, где на одно человечество приходится одиннадцать тысяч вероисповеданий, является центром Вселенной; но, тем не менее, в звездах он разбирался неплохо.

По примыкающим к пражскому дворцу грязным аллеям спешили по своим делам слепой Жижка и прямодушный Валленштейн — его величают в Праге «нашим героем»: город гордится,

что дал миру такого человека. В мрачном дворце на Вальдштейнплац вам покажут почитаемую как святыня каморку, в которой он молился и убедил всех, что у него есть душа. По крутым кривым улочкам Праги не раз громыхали сапоги солдат — то летучих отрядов Сигизмунда, которых сменили свирепые табориты, то фанатичных протестантов, которых изгнали победоносные католики Максимилиана. То саксонцы, то баварцы, то французы, то святоши Густава Адольфа, то пушки Фридриха Великого осыпают ядрами ее ворота и берут штурмом мосты.

Евреи всегда были неотъемлемой частью Праги. Иногда они помогали христианам в их любимом занятии — взаимоистреблении, и над сводами Альтнойшуле некогда развевалось боевое знамя — знак доблести, под которым они помогали католику Фердинанду отбиваться от протестантов-шведов. Пражское гетто — одно из первых в Европе, и до сих пор сохранилась крошечная синагога, где пражский еврей молится вот уже восемьсот лет, а женщины, которым входить туда не положено, стоят на улицах и истово слушают молитву, доходящую до них сквозь слуховые окошечки, прорубленные в каменных стенах. Еврейское кладбище, примыкающее к ней, «Бетшаим, или Дом Жизни», кажется, вот-вот лопнет, переполненное покойниками. На протяжении веков, по закону, кости сынов Израиля могли покоиться только в этом тесном месте. Поэтому рассыпавшиеся и разбитые надгробия в беспорядке свалены тут и там как свидетельство молчаливой борьбы, происходящей под землей.

Стены гетто давно уже сровнены с землей, но современные пражские евреи по-прежнему живут в своих родных переулочках, хотя на их месте с поразительной быстротой возникают прекрасные новые улицы, обещающие превратить этот квартал в самый красивый район города.

В Дрездене нам посоветовали не говорить в Праге по-немецки. По всей Богемии чешское большинство испытывает неприязнь к немецкому меньшинству, и немцу, который уже не обладает былыми привилегиями, лучше не появляться на некоторых пражских улицах. Однако кое-где в Праге мы говорили по-немецки: нам приходилось выбирать — либо по-немецки, либо молчать. Говорят, что чешский язык очень древний и имеет давнюю письменную традицию. В алфавите сорок две буквы, которые могут показаться иностранцу китайскими иероглифами.[9]

С наскоку такой язык не выучишь. Мы решили, что стоит все-таки рискнуть физиономиями, и попытались разговаривать по-немецки; и действительно, ничего страшного не произошло. Почему — остается только гадать. Пражане — народ проницательный: легкий иностранный акцент, некоторые грамматические ошибки подсказали им, что мы вовсе не те, за кого пытаемся себя выдать. Я не настаиваю на этой версии, это всего лишь моя гипотеза.

Но на всякий случай, чтобы лишний раз не рисковать, мы осматривали город с помощью гида. Идеального гида я не встречал. У этого было два существенных недостатка. Английский он знал крайне плохо. Признаться, это был и не английский. Я-то знаю, что это был за язык! Винить его было бы слишком несправедливо: английский ему преподавала шотландская леди. Я немного понимаю по-шотландски, без этого нельзя быть в курсе всех новинок современной английской литературы, но понимать шотландское просторечье, да еще когда говорят со славянским акцентом, перемежая речь немецкими оборотами, — нет, уж увольте! Первое время мы никак не могли избавиться от опасения, что наш гид задохнется. Мы все ждали, что вот-вот он умрет у нас на руках. Вскоре, однако, мы к нему привыкли и подавили возникающее всякий раз, как он открывал рот, желание положить его на спину и разорвать одежду на груди. Затем мы стали понимать часть того, что он говорил, и тут выяснился его второй недостаток.

Оказалось, он недавно изобрел средство для ращения волос и пытается всучить его местным фармацевтам для рекламы и продажи. Половину времени он расписывал нам не красоты Праги, а выгоды, которое приобретет человечество, если станет потреблять его зелье; а то, что мы согласно кивали, находясь под сильным впечатлением его красноречивых комментариев, касающихся, как нам казалось, достопримечательностей города, он относил на счет нашего живого участия в судьбе его несчастной жидкости.

В итоге ни о чем другом он теперь и говорить не мог. Мы проезжали мимо руин дворцов и развалин церквей — он отпускал в их адрес легкомысленные шуточки в духе декадентов. Свою задачу он видел не в том, чтобы задержать наше внимание на разрушительной работе времени, а объяснить, как все можно поправить. Какое нам дело до героев с отбитыми головами и плешивых святых? Нас должен интересовать исключительно живой мир: пышноволосые девушки или девушки не столь примечательные, которые могли бы придать своим волосам пышность, употребляй они «Кофкео»; а также молодые люди с могучими усами — из тех, что изображены на этикетке.

Хотел того наш гид или нет, но мир в его представлении делился на две части. Прошлое («до употребления») — жалкий, несчастный, лишенный привлекательности мир. Будущее («после употребления») — мир упитанный, веселый, благодушный. Как проводник по памятникам средневековой истории наш чичероне ни на что не годился.

Он прислал нам в отель по бутылочке своего снадобья. Должно быть, в самом начале нашей экскурсии, не разобравшись, что к чему, мы сами попросили его об этом. Лично я не собираюсь ни хвалить, ни ругать его средство. Длинная череда горьких неудач убила у меня волю к борьбе; прибавьте к этому постоянно присутствующий запах парафина, пусть даже легкий, способный вызывать колкие шуточки, особенно если вы женаты. Теперь я таких средств не употребляю.

Свою бутылочку я отдал Джорджу. Он выпросил ее у меня для своего знакомого в Лидсе. Позже я узнал, что под этим же предлогом он выклянчил бутылочку и у Гарриса.

Запах чеснока не покидал нас, стоило нам только покинуть Прагу. Джордж сам обратил на него внимание, он объяснил это тем, что западно-европейская кухня злоупотребляет чесноком.

В Праге мы с Гаррисом хорошо удружили Джорджу. Мы заметили, что в последнее время Джордж слишком пристрастился к пильзенскому пиву. Это немецкое пиво — коварная вещь, особенно в жаркую погоду, но отвыкнуть от него не так-то легко. В голову оно не ударяет, но от него полнеешь. Всякий раз, как я приезжаю в Германию, говорю себе: «Нет, немецкого пива я в рот не возьму. Белое вино местных сортов и немного содовой; ну, иногда стаканчик пунша. Но пиво — нет, ни за что!»

Это очень хорошее и разумное правило, рекомендую его всем путешественникам. В следующий раз попробую соблюдать его. Джордж, несмотря на мои предостережения, отказался от столь строгих ограничений. Он сказал, что в умеренных дозах немецкое пиво полезно.

— Стаканчик утром, — сказал Джордж, — стаканчик-другой вечером. От этого никому плохо не бывало.

Не исключаю, что он и прав. Нас с Гаррисом беспокоила та полудюжина стаканчиков, которую выпивал Джордж.

— Мы должны что-то предпринять, — сказал Гаррис. — Дело принимает серьезный оборот.

— Его недуг, как он мне объяснил, — наследственный, — ответил я. — У них в роду все страдали от жажды.

— Но здесь хорошие минеральные воды, — ответил Гаррис, — с долькой лимона они великолепно утолят любую жажду. Я беспокоюсь за его фигуру. Он теряет природную элегантность.

Мы обсудили ситуацию и — Провидение пришло к нам на помощь — выработали план действий. Для украшения города недавно была отлита новая статуя. Кого она изображала, не помню. В общем, это был обычный городской памятник: заурядный всадник с неизменно гордой осанкой верхом на заурядном коне — конь, как водится, поднялся на дыбы, чтобы высвободить

передние ноги, необходимые ему для попрания времени. Но было в этом памятнике кое-что и оригинальное. Вместо принятого в таких случаях меча или жезла всадник сжимал в простертой длани шляпу с плюмажем, а у коня вместо хвоста, водопадом низвергающегося на пьедестал, торчал какой-то худосочный обрубок, никак не вязавшийся с его горделивой позой. По-моему, коню с таким хвостом задаваться нечего.

Статую установили на маленькой площади неподалеку от моста Карла, но стояла она там лишь временно. Перед тем как окончательно определить ей место, городские власти, вполне благоразумно, решили на практике проверить, где она будет смотреться лучше. Поэтому были изготовлены три грубые копии — просто деревянные профили, вблизи ни на что не похожие, но на расстоянии производящие должный эффект. Одну из них водрузили у подъезда к мосту Франца Иосифа, другая стояла на площади за театром, а третья — в центре Венцельплац.

— Если только Джордж не прознал про это, — сказал Гаррис, — мы гуляли с ним уже около часа, оставив Джорджа в отеле писать письмо тетушке, — если только он не видел эти статуи, то они помогут нам вернуть ему человеческий облик сегодня же вечером.

Итак, за обедом мы прочитали ему суровую нотацию, но, не заметив и тени раскаяния, вытащили на улицу и по боковым переулочкам повели к месту, где стоял подлинник статуи. Джордж лишь взглянул на нее и собирался пройти мимо, как он обычно обходится со статуями, но мы его не пустили и заставили внимательно осмотреть. Четыре раза мы обвели его вокруг статуи, показывая ее во всех ракурсах. Мы поведали ему историю всадника, назвали имя скульптора, сообщили ее вес и размеры. Статуя должна была прочно засесть у него в памяти. По окончании экскурсии его знания о ней превзошли все сведения, полученные когда-либо. Он проникся этой статуей, но мы оставили его в покое, лишь взяв обещание вернуться сюда утром, когда она смотрится лучше, а также проследили, чтобы он записал в книжечке точное местонахождение статуи.

Затем мы зашли в его любимую пивную и посидели с ним, развлекая рассказами о человеке, который, не зная о коварстве немецкого пива, злоупотреблял им, в результате чего сошел с ума, страдая манией преследования; о человеке, которого немецкое пиво свело в могилу раньше срока; о влюбленных, от которых отказывались красивые девушки из-за того, что те пили немецкое пиво.

В десять мы собрались в отель. Дул сильный ветер, по небу носились тучи, заволакивая бледную луну, Гаррис сказал:

— Давайте пойдем другим путем, пойдем по набережной. Река очень красива в лунном свете.

Во время прогулки Гаррис поведал нам печальную историю одного своего приятеля, сейчас лежащего в лечебнице для тихих сумасшедших. Он сказал, в какой связи вспомнил эту историю: последний раз он видел беднягу в такую же ночь. Они прогуливались по набережной Темзы, и приятель напугал его, начав вдруг утверждать, что видит у Вестминстерского моста памятник герцогу Веллингтону, хотя, как известно, установлен он на Пикадилли.

В этот самый момент открылся вид на первую из деревянных копий. Она стояла в центре маленького, обнесенного оградой сквера, находившегося чуть выше нас на другом берету. Джордж резко остановился и прислонился к парапету набережной.

— Что с тобой? — побеспокоился я. — Голова закружилась?

— Да, немного. Давайте передохнем минутку, — попросил он.

Джордж стоял, вперив взор в копию статуи. Хриплым голосом он произнес:

— Кстати о статуях. Меня всегда поражало, до чего же одна похожа на другую.

Гаррис возразил:

— Тут я с тобой не согласен. Картины — да. Некоторые картины очень похожи друг на друга, но статуи всегда чем-нибудь отличаются. Взять хотя бы ту, — продолжал он, — что мы

видели сегодня вечером до концерта. Она изображает человека на коне. В Праге много конных статуй, но похожих на эту нет.

— Нет, — упорствовал Джордж, — все они похожи. Один и тот же всадник, один и тот же конь. Все они похожи как близнецы. И глупо утверждать обратное.

Он начинал злиться на Гарриса.

— С чего это ты взял? — спросил я.

— С чего взял? — взвился Джордж, переключая свою ярость на меня. — Да ты посмотри на этого чертового истукана!

— На какого чертового истукана? — удивился я.

— Да на этого! — вскипел Джордж. — Да смотри же! Тот же вздыбленный конь с обрубленным хвостом, тот же всадник со шляпой, тот же…

Тут вмешался Гаррис.

— Да ты же говоришь о статуе, что мы видели на Круглой площади!

— Нет, не о ней, — возразил Джордж, — а вон о той.

— О какой? — изумился Гаррис.

Джордж посмотрел на Гарриса. Из Гарриса, не будь он так ленив, получился бы великолепный актер. Лицо его светилось дружеским участием, смешанным с тревогой. Джордж перевел взгляд на меня. Я, употребив все свои мимические способности, скопировал гримасу Гарриса, добавив со своей стороны немного укоризны.

— Может, взять извозчика? — сказал я Джорджу как можно мягче.

— На кой черт мне извозчик? — грубо ответил он. — Вы что, ребята, шуток не понимаете? Связался с двумя старыми дураками!

И, не обращая на нас внимания, пошел через мост.

— Если это шутка, то и слава Богу, — сказал Гаррис, когда нам удалось нагнать Джорджа. — Я знаю, размягчение мозга иногда начинается…

— Заткнись, глупый осел! — оборвал его Джордж. — Все-то ты знаешь.

Джордж — человек грубый и в выражениях не стесняется.

По набережной мы вышли к театру. Мы убедили его, что так будет короче; в общем, это соответствовало действительности. На площади за театром стоял второй деревянный призрак. Джордж его увидел и замер как вкопанный.

— Что с тобой? — мягко спросил Гаррис. — Тебе нездоровится?

— Не думаю, что так будет короче, — пробормотал Джордж.

— Уверяю тебя, — настаивал Гаррис.

— Как хотите, я пошел другим путем, — огрызнулся Джордж повернулся и зашагал, а мы, как и в прошлый раз, поспешили за ним.

Идя по Фердинандштрассе, мы с Гаррисом беседовали о частных клиниках для душевнобольных. Клиники эти, по мнению Гарриса, в Англии пребывают в плачевном состоянии. Он сказал, что один его друг, сидящий в сумасшедшем доме…

Джордж перебил его:

— Уж что-то слишком много у тебя друзей в сумасшедшем доме.

Он произнес эту фразу крайне язвительным тоном, явно намекая, что всем друзьям Гарриса там самое место. Но Гаррис не обиделся; он ответил очень кротко:

— Что поделаешь, действительно странно; но стоит поразмыслить как следует, как приходишь к выводу, что многие мои друзья еще попадут туда, рано или поздно. Порой даже страшно становится.

На углу Венцельплац Гаррис, обогнавший нас на несколько шагов, остановился.

— Красивая улица, что вы скажете? — сказал он, засунув руки в карманы и с восхищением рассматривая открывающийся вид.

Мы с Джорджем последовали его примеру. В двухстах ярдах от нас в самом центре площади стояла третья статуя-призрак. По-моему, это была самая лучшая из трех — самая похожая, самая обманчивая. Ее контуры четко вырисовывались на фоне неспокойного неба: вздыбленный конь с забавным обрубком вместо хвоста, всадник с непокрытой головой, сжимающий в поднятой руке шляпу с пышным плюмажем, как бы грозя мерцающей в выси луне.

— Я думаю, вы не станете возражать, — скорбно сказал Джордж (от былой задиристости не осталось и следа), — если мы возьмем извозчика.

— Сегодня ты немного не в себе, — мягко возразил Гаррис. — Что-нибудь с головой?

— Скорее всего, — ответил Джордж.

— Так и должно было случиться, — заметил Гаррис. — Знаю, но не хотел говорить. Тебе что-нибудь мерещится?

— Нет-нет, ни в коем случае, — поспешно возразил Джордж. — Сам не пойму, что со мной.

— А я знаю, — торжественно объявил Гаррис. — Слушай. Это все немецкое пиво. Знавал я человека, который…

— Не надо, только не сейчас, — взмолился Джордж. — Охотно тебе верю, но прошу, не надо мне о нем.

— Пиво тебе вредно, — сказал Гаррис.

— С завтрашнего дня — ни капли, — сообщил Джордж. — Конечно же, ты прав. Мне от него что-то плохо.

Мы отвезли его домой и уложили в постель. Он был на диво кроток и сердечно нас благодарил.

Уже позднее, как-то вечером после долгого пробега, за которым последовал плотный обед, мы, угостив Джорджа длинной сигарой и убрав подальше тяжелые предметы, раскрыли ему секрет стратегии, выбранной нами для наставления его на путь истинный.

— Так сколько, вы говорите, нам попалось копии? — спросил Джордж, выслушав нас.

— Три, — ответил Гаррис.

— Только три? — не поверил Джордж. — Вы не ошибаетесь?

— Исключено, — категорически заявил Гаррис. — А что?

— Да нет, ничего, — ответил Джордж.

Гаррису он, по-моему, не поверил.

Из Праги мы отправились в Нюрнберг через Карлсбад. Говорят, что праведные немцы после смерти попадают в Карлсбад, так же как праведные американцы — в Париж. В этом я сомневаюсь: городок небольшой и развернуться там негде. В Карлсбаде вы пробуждаетесь в пять утра — самое модное время для прогулок под звуки оркестра, играющего на Колоннаде; за минеральной водой выстраивается очередь в милю длиной, но это уже с шести до восьми. Племен здесь намешалось больше, чем при вавилонском столпотворении. Польские евреи и русские князья, китайские мандарины и турецкие паши, норвежцы, как будто сошедшие со страниц Ибсена, французские кокотки, испанские донны и английские графини, черногорские горцы и чикагские миллионеры попадаются вам на каждом шагу. Все сокровища мира к услугам гостей Карлсбада, за исключением одного перца. В радиусе пяти миль вы не достанете перца ни за какие деньги, а тот мизер, что вам удастся выпросить, не стоит затраченных усилий. Для дивизии печеночников, составляющих четыре пятых карлсбадских пациентов, перец — яд, а болезнь легче предупредить, чем излечить, вот и нет его по всей округе. В Карлсбаде устраиваются «вечера с перцем»: группа проверенных лиц собирается вместе, выезжает за

пределы города и устраивает там дикие оргии, где перец поглощается в неограниченном количестве.

Нюрнберг, если вы ожидаете увидеть средневековый город, разочарует вас. Таинственные уголки, живописные виды — всего этого здесь в изобилии, но современная эпоха окружила и поглотила их, так что даже древности не столь древни, как хотелось бы думать. В конце концов, города — как и женщины: им столько лет, на сколько они выглядят, и в этом отношении Нюрнберг — молодящаяся дама, его возраст трудно определить, он скрыт под свежей краской и штукатуркой, заслонен мерцанием газовых и электрических фонарей. И все же, присмотревшись повнимательней, замечаешь его морщинистые стены и седые башни.

Глава IX

Гаррис нарушает закон. — Добровольный помощник: опасности, которые его подстерегают. — Джордж ступает на скользкую тропу. — Для кого Германия край блаженный и желанный. — Английский грешник: его разочарования. — Немецкий грешник: его неограниченные возможности. — Что запрещено делать с постелью. — Недорогое правонарушение. — Немецкая собака: ее добропорядочность. — Жук нарушает порядок. — Народ, который ходит как полагается. — Немецкий мальчик: его законопослушность. — Как детская коляска может сбить с пути истинного. — Немецкий студент: законопослушный буян

По дороге из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас по разным причинам умудрился попасть в историю.

Гарриса задержали в Штутгарте за нанесение оскорбления полицейскому. Штутгарт — чудесный город, вымытый и начищенный до блеска, маленький Дрезден. Помимо всего прочего, он привлекает еще и тем, что здесь есть на что посмотреть, но достопримечательностей не слишком много, ровно столько, сколько успеваешь осмотреть за день: средних размеров картинная галерея, небольшой исторический музей, дворец — с городом покончено, и вы довольны. Гаррис не знал, что тот, кому он наносит оскорбление, — должностное лицо. Он принял его за пожарника (тот очень походил на пожарника) и обозвал «dummer Esel».[10] В Германии закон запрещает обзывать должностное лицо «глупым ослом», но то конкретное должностное лицо именно им и было. Вот что случилось. Гаррис гулял в городском саду; желая выйти и видя перед собой открытые ворота, он перешагнул через

какую-то проволоку и вышел на улицу. Гаррис утверждает, что ничего такого не видел, но наверняка на проволоке висела табличка: «Durchgang verboten» («Проход воспрещен»). Человек, стоящий у ворот, остановил Гарриса и указал ему на табличку. Гаррис поблагодарил и направился дальше. Человек нагнал его и заявил, что не потерпит столь наплевательского отношения к своим замечаниям; чтобы уладить конфликт, он потребовал от Гарриса вернуться и перелезть через проволоку обратно в сад. Гаррис заметил, что на табличке написано: «Проход воспрещен», и, следовательно, если он проникнет в сад таким же образом, как и вышел оттуда, то вторично нарушит закон. Человек и сам понял это и, чтобы разрешить дилемму, предложил Гаррису обойти сад и войти через вход, где это разрешено, и тут же выйти обратно, через те же ворота. Тут-то Гаррис и обозвал его «глупым ослом». Мы потеряли день, а Гаррис — сорок марок.

Я последовал его примеру и в Карлсруэ украл велосипед. Я вовсе не собирался красть велосипед, я просто проявил расторопность и сообразительность. Поезд должен был вот-вот тронуться, как вдруг я заметил, что велосипед Гарриса — так мне показалось — все еще стоит в багажном вагоне. Помочь мне было некому. Я вскочил в вагон и выкатил велосипед, и как раз вовремя. Торжествуя, я покатил его по перрону и тут увидел, что у стены, рядом с какими-то бидонами, стоит велосипед Гарриса. Велосипед, который мне удалось вызволить, был не Гарриса, он принадлежал кому-то другому.

Ситуация была чревата опасными последствиями. В Англии я бы пошел к начальнику вокзала и объяснил свою промашку. Но в Германии вы так просто не отделаетесь: вас пошлют по инстанциям, и придется давать объяснения, по крайней мере, полудюжине начальников различного ранга, и если хоть одного из них не будет на месте или у него не окажется времени выслушать вас, то, по заведенному порядку, вас запрут на ночь и приступят к допросу лишь наутро. Я решил, что лучше без лишнего шума убрать велосипед с глаз долой, и потихоньку стал скатывать его с платформы. Я заметил дровяной сарай, как нельзя лучше подходящий для этой цели, и уже было направил туда велосипед, как вдруг, на беду, мои маневры заметил железнодорожник в красной фуражке, похожий на отставного маршала. Он подошел ко мне и спросил:

— Что это вы делаете с велосипедом?

— Да вот, хочу отвезти его в сарай, чтобы не мешался на дороге.

Всем своим видом я пытался показать, что вполне добровольно оказываю услугу железнодорожным служащим, за что они должны сказать мне спасибо; но благодарности от него я не дождался.

— Это ваш велосипед? — поинтересовался он.

— Да не совсем, — сказал я.

— Чей же? — не без ехидства спросил он.

— Не могу вам сказать. Я не знаю.

— Откуда он у вас? — последовал новый вопрос.

Подозрительность, сквозящая в его тоне, слегка задела меня.

— Я взял его, — спокойно ответил я со всем достоинством, на какое был способен, — в поезде. Дело в том, — чистосердечно признался я, — что я ошибся.

Он не дал мне закончить. Сказав, что именно так и думал, он засвистел в свисток.

Воспоминания о дальнейших событиях, признаться не из самых приятных. По какому-то чудесному стечению обстоятельств — говорят, Провидение хранит вас, — этот скандал случился в Карлсруэ, где я знал одного немца, какого-то важного чиновника. Что ожидало меня, случись это не в Карлсруэ или не окажись моего знакомого дома, — не хочу и думать; но случилось все именно так, а не иначе, и мне буквально чудом удалось выпутаться из этой истории. Хотелось бы добавить, что покинул я Карлсруэ с незапятнанной репутацией, но это

не так. И по сей день в тамошних полицейских кругах моя безнаказанность расценивается как ошибка следствия.

Но все эти наши мелкие правонарушения меркнут перед леденящими кровь преступлениями, совершенными Джорджем. Скандал с велосипедом спутал все наши планы, в результате чего мы потеряли Джорджа. Естественно было бы предположить, что он поджидает нас где-нибудь у полицейского участка, но тогда нам это не пришло в голову. Мы подумали, что он решил добираться до Бадена самостоятельно, и, не взвесив все как следует, желая к тому же как можно скорее покинуть Карлсруэ, мы вскочили в первый же попавшийся поезд, следующий на Баден. Когда Джорджу надоело ждать, он вернулся на вокзал, где и обнаружил, что нас нет, а вместе с нами пропал и его багаж. Его билет был у Гарриса; все наши деньги хранились у меня, так что в карманах у Джорджа было лишь немного мелочи. Посчитав отсутствие денег смягчающим вину обстоятельством, он пошел по скользкой дорожке и совершил такие преступления, что когда мы с Гаррисом прочли их описание в полицейском протоколе, то волосы у нас встали дыбом.

Необходимо пояснить, что передвижение по Германии сопряжено с некоторыми трудностями. На вокзале вы покупаете билет до места назначения. Вам может показаться, что этого достаточно, но не тут-то было! Прибывает поезд, вы пытаетесь сесть в него, но кондуктор останавливает вас величественным жестом: «Ваши проездные документы?» Вы показываете билет. Он объясняет, что сам по себе билет — простая бумажка: приобретя его, вы делаете лишь первый шаг к цели; нужно вернуться в кассу и «доплатить за скорость». Доплатив и получив еще один билет, вы полагаете, что мытарства окончены. В вагон вас, конечно, пропустят, но не более того: сидеть вам нельзя, стоять не положено, ходить запрещено. Необходим еще один билет, который называется «плацкартой» и гарантирует вам место до определенной станции.

Я частенько задумывался над тем, что остается делать человеку, купившему лишь один билет. Разрешат ли ему бежать за поездом по шпалам? Сможет ли он, наклеив на себя ярлык, сдать себя в багаж? Опять же, что станет с человеком, который, доплатив за скорость, не пожелает или не сможет, за отсутствием денег, купить плацкарту: разрешат ли ему влезть на багажную полку или позволят висеть за окном?

Но вернемся к Джорджу. Денег у него только-только хватило на билет в вагоне третьего класса в почтовом поезде до Бадена, и все. Чтобы избежать расспросов кондуктора, он подождал, когда поезд тронется, и на ходу вскочил в вагон.

Это было его первое преступление:

а) вход в поезд во время движения;

б) причем после предупреждения должностным лицом.

Второе преступление:

а) проезд в поезде класса более высокого, чем тот, который указан в билете;

б) отказ уплатить разницу по требованию должностного лица. (Джордж говорит, что «не отказывался», а просто сказал, что у него нет денег.)

Третье преступление:

а) проезд в вагоне класса более высокого, чем тот, который указан в билете;

б) отказ уплатить разницу по требованию должностного лица. (И тут Джордж оспаривает точность протокола. Он вывернул карманы и предложил кондуктору все, что у него было, — около восьми пенсов немецкими деньгами. Он согласился пройти в третий класс, но третьего класса в поезде не было. Он был согласен на багажный вагон, но его и слушать не стали.)

Четвертое преступление:

а) занятие места без оплаты оного;

б) хождение по коридору. (Так как без оплаты сидеть ему не разрешалось, а денег у него не было, то, понятно, ничего другого делать ему не оставалось.)

Но в Германии понять — не значит простить, и путешествие из Карлсруэ в Баден оказалось для него, наверное, самым дорогим за всю жизнь.

Размышляя о том, с какой легкостью в Германии можно влипнуть в историю, неизменно приходишь к выводу, что Германия — сущий рай для нашего молодого человека. Студенту-медику, завсегдатаю ресторанов Темпля или лейтенанту, приехавшему в отпуск, жизнь в Лондоне кажется скучной и однообразной. Для здорового британца удовольствие только тогда удовольствие, когда оно запрещено законом. Все, что разрешено, его не устраивает. Он спит и видит, как бы нарушить закон. Однако в Англии тут особо не разгуляешься — чтобы учинить скандал, надо изрядно постараться.

Как-то мы беседовали на эту тему с нашим церковным старостой. Было это утром десятого ноября, накануне студенты отмечали свой праздник, и мы не без интереса просматривали раздел полицейской хроники. Как всегда, той ночью была задержана группа юнцов, конечно же, нарушавшая порядок, как это принято при входе в «Критерион».[11]

У моего друга, старосты, были дети подходящего возраста, а у нас жил племянник, оставленный на мое попечение любящей мамашей, наивно полагавшей, что ее чадо поселилось в Лондоне с единственной целью изучать инженерное искусство. По счастливой случайности, наших питомцев среди доставленных в участок не оказалось, и мы, облегченно вздохнув, пустились в рассуждения по поводу безрассудства и распущенности юного поколения.

— Просто интересно, — сказал мой друг староста, — до чего же прочно «Критерион» удерживает свою репутацию. То же самое творилось там и в дни моей юности: вечер всегда кончался скандалом в «Критерионе».

— Как это глупо, — заметил я.

— И как однообразно! — ответил он. — Вы и представить себе не можете, — продолжал он, и на его изборожденном морщинами лице появилось мечтательное выражение, — как могут надоесть прогулки от Пикадилли до полицейского участка на Вайн-стрит. А что оставалось делать? Спустишь, бывало, фонарь, как тут же придет фонарщик и водрузит его на место. Оскорбишь полицейского, а ему хоть бы хны — то ли не понимает, что его оскорбляют, то ли просто виду не подает. Ну можно было еще подраться со швейцаром из «Ковент-Гардена», хотя лучше было не связываться. Если он вас поколотит, то приходится выкладывать пять шиллингов, если вы его — полсоверена. Мне это развлечение было не по душе. Как-то я попытался угнать двуколку. Считалось, что это всем проделкам проделка. Было это поздно вечером, стояла она у пивной на Дин-стрит. Не успел я проехать до Голден-сквер, как меня остановила какая-то старушка с тремя детьми — двое хныкали, а третий спал на ходу. Избавиться от нее мне не удалось: прежде чем я успел что-либо предпринять, она запихала свое отродье в кеб, записала мой номер, сунула мне деньги, переплатив, как она сказала, целый шиллинг, и направила меня куда-то, как ей казалось, за Северный Кенсингстон. На деле Северный Кенсингстон оказался Уилсденом. Лошадь устала, добирались мы туда больше двух часов. Более медленных кляч я в жизни своей не встречал. Раза два я принимался уговаривать ребятишек вернуться к бабушке, но стоило мне только открыть дверцу, как самый маленький принимался орать; я пытался сплавить их другим извозчикам, но в большинстве своем они отвечали мне словами популярной тогда песенки: «Эх, Джордж! Уж больно многого от жизни хочешь ты!» Один же предложил передать моей жене прощальное письмо, а другой пообещал прийти весной на кладбище и помянуть меня. Когда я влезал на козлы, то мечтал, как сядет ко мне желчный полковник, а я увезу его за дюжину миль от того места, куда ему надо, брошу на произвол судьбы в глухой трущобе, где кеба днем с огнем не сыщешь, и умчусь, осыпаемый проклятиями. Что бы из этого вышло — сказать трудно, все зависит от обстоятельств и самого

полковника. Но мне и в голову не могло прийти, что я потащусь в дальний пригород, опекая беззащитных младенцев. Нет, — закончил мой друг староста, глубоко вздохнув, — в Лондоне любителям нарушать порядок не развернуться.

В Германии же все наоборот, вам и не придется лезть на рожон. Здесь запрещено много такого, что весьма легко сделать. Каждому молодому англичанину, желающему влипнуть в скандальную историю и не видящему у себя на родине к этому возможностей, я бы советовал купить билет в Германию; обратного же билета брать не следует — он годен лишь в течение месяца, так что деньги наверняка пропадут.

В полицейском путеводителе по «Фатерланду» он найдет список запретных деяний, который вызовет у него живой интерес. В Германии запрещено вывешивать из окон постели. Можно начать с этого. Помахав одеялом из окна, попадешь в полицейский протокол, не успев и позавтракать. На родине можно самому повиснуть на подоконнике, и никого это не будет волновать, если, конечно, при этом не разобьешь старинные фонари и не сорвешься вниз, поранив случайного прохожего.

В Германии запрещено появляться на улицах в маскарадных костюмах. Один мой знакомый шотландец, которому случилось как-то зимой побывать в Дрездене, первые несколько дней провел в дебатах с саксонским правительством по поводу своего наряда. Его спросили, что он делает в этой одежде. Особой любезностью он не отличался. Он сказал, что носит ее. Его спросили, зачем он ее носит. Он ответил, что для тепла. Ему прямо заявили, что слова его не вызывают доверия, и в закрытом фургоне доставили в гостиницу. Потребовалось личное вмешательство министра иностранных дел Ее Величества, который заверил немецкие власти, что для многих уважаемых законопослушных подданных Британской короны такая одежда является традиционной. По дипломатическим соображениям они приняли разъяснения, но и по сей день остаются при особом мнении. К английским туристам они попривыкли, но джентльмена из Лейстершира, приглашенного немецкими офицерами на охоту стоило ему выйти из гостиницы, тут же арестовали и препроводили в полицию, где ему пришлось давать объяснения по поводу легкомысленного костюма.

Кроме того, на улицах Германии запрещено кормить лошадей, ослов и мулов, вне зависимости от того, принадлежат ли они вам или иному лицу. Если вами овладеет страсть накормить чужую лошадь, то придется предварительно договариваться с животным и организовать кормежку в специально отведенном месте. Вам запрещается бить стекло и фарфор на улицах, а также в других общественных местах, а если уж так получилось, то вы обязаны собрать все осколки. Что делать с собранными осколками — сказать не берусь. Единственное, что я знаю наверняка, — их нельзя выбрасывать куда попало, оставлять их где попало или избавляться от них иным способом. Скорее всего, имеется в виду, что вы будете носить их с собой до самой смерти, и они уйдут с вами в могилу; не исключаю, что их следует проглотить.

На улицах Германии запрещена стрельба из лука. Немецким законотворцам мало предусмотреть правонарушения, на которые способен нормальный человек, — преступления, которые хочется совершить, да нельзя; их беспокоят и те преступления, на которые может пойти маньяк. Правда, в Германии нет закона, запрещающего стоять на голове посредине улицы, законодатели такую возможность не предусмотрели. Но если в наши дни какой-нибудь немецкий государственный муж посетит цирк и увидит акробатов, он может наверстать упущенное. Он может немедленно приняться за работу и сочинить закон против людей, стоящих на голове посредине улицы; за его нарушение будет взиматься штраф. В том-то и прелесть немецкого закона: нарушения идут по твердым ценам. Не то что в Англии, где всю ночь не спишь, думая, что тебя ждет: то ли отделаешься просто предупреждением, то ли выложишь сорок шиллингов, то ли судья окажется не в духе и даст семь дней отсидки. Вы уже твердо знаете, во что вам обойдется то или иное развлечение. Можете выложить деньги на стол, открыть полицейский путеводитель и спланировать весь свой отпуск с точностью до

пятидесяти пфеннигов. Если хотите без особых затрат провести вечер, рекомендую прогулку по запретной стороне тротуара после предупреждения. Я прикинул, что если район неоживленный, с тихими улочками, то за целый вечер вы находите не больше чем на три марки с мелочью.

В Германии с наступлением темноты запрещено ходить по улицам «толпами». Я не совсем понимаю, сколько людей образуют «толпу», и ни один полицейский, с которым мне довелось говорить на эту тему, не смог назвать точную цифру. Как-то я спросил одного своего знакомого немца, собиравшегося в театр со своей женой, тещей, пятью детьми, сестрой и ее кавалером, не боится ли он нарушить закон. Он воспринял вопрос вполне серьезно. Он окинул взглядом всю группу:

— Нет, не думаю, — сказал он. — Дело в том, что мы — одна семья.

— В законе не сказано, что за толпа имеется в виду, — сказал я, — семья, не семья — просто «толпа». Не хочу вас обижать, но, если вдуматься в значение этого слова, вы — самая настоящая толпа. Какого мнения на этот счет окажется полиция — сказать трудно. Я бы на вашем месте не рисковал.

Мой знакомый попытался рассеять мои опасения; но так как его жена не желала рисковать понапрасну — ей не хотелось, чтобы их в самом начале вечера рассеивала полиция, — то они решили разделиться, договорившись встретиться в фойе перед началом спектакля.

Если вы любите бросать предметы из окна, то в Германии вам придется поумерить и эту свою страсть. Кошки не являются уважительной причиной. Всю первую неделю в Германии кошки не давали мне спать. Однажды я вышел из себя. Я собрал небольшой арсенал — два-три куска угля, несколько зеленых груш, пару свечных огарков, яйцо, оказавшееся на кухонном столе, бутылку из-под содовой воды и тому подобные предметы и, открыв окно, подверг интенсивной бомбардировке место, откуда доносился шум. Не думаю, чтобы я попал; мне не доводилось видеть человека, который умудрился бы попасть в кошку, даже если он ее и видит; исключения составляют случаи, когда целишься во что-нибудь другое.

Мне доводилось наблюдать, как отличные стрелки — призеры первенств Великобритании — с пятидесяти ярдов стреляли из винтовок по кошкам — и хоть бы волосок с тех упал! Я часто думаю, что вместо того, чтобы палить по мишеням, тарелочкам и прочей ерунде, спортсмены должны стрелять по кошкам: кто попадет, тот и будет сильнейшим.

Но, как бы то ни было, кошки убрались; скорее всего их отпугнуло яйцо. Когда я его бросал, оно показалось мне тухлым. Я пошел спать, сочтя инцидент исчерпанным. Через десять минут кто-то властно нажал на кнопку электрического звонка. Я постарался не обращать на него внимания, но звонили уж слишком настойчиво, и, накинув халат, я пошел к воротам. Там стоял полицейский. У его ног лежали все предметы, выброшенные мною из окна, за исключением яйца. Похоже, он собирался пополнить ими свою коллекцию. Он спросил:

— Это ваше?

— Мое, но больше мне не нужно. Если хотите, то можете взять себе.

Он не обратил внимания на мое предложение и продолжил допрос:

— Вы выбросили эти веши из окна?

Я не стал запираться:

— Вы совершенно правы.

— А почему вы выбросили эти вещи из окна? — не унимался он.

Для немецких полицейских составлен специальный вопросник: вопросы следуют в особом порядке, и он ни одного не пропустит.

— Я бросался этими вещами из окна в кошек, — ответил я.

— В каких кошек? — продолжал занудствовать полицейский.

Это их любимый вопрос. Со всем сарказмом, какой позволяли мне мои знания немецкого, я отвечал, что, к стыду своему, не знаю, что это были за кошки. Я объяснил, что лично с ними не знаком, но если полиция соберет всех подозрительных кошек, то я, пожалуй, попробую опознать их по характерному крику.

Немецкий полицейский шуток не понимает, и слава Богу; несомненно, в Германии шутки с человеком в мундире кончаются крупным штрафом — это называется «обращение к должностному лицу без должного почтения». Он просто ответил, что опознание кошек не входит в обязанности полиции; в обязанности полиции входит оштрафовать меня за то, что я бросал предметы из окна.

Я спросил, что принято делать в Германии, когда кошки по ночам не дают вам спать, и он объяснил, что в таких случаях следует подать в полицию жалобу на владельца кошки, а полиция предупредит его и, в случае необходимости, распорядится отстрелять кошку.

Я спросил, как, по его мнению, можно установить владельца кошки. Немного подумав, он посоветовал мне проследить, куда кошка пойдет спать. После этого спорить с ним охота у меня пропала; контрдоводы, мгновенно созревшие, совсем бы испортили дело. Ночное развлечение обошлось мне в двадцать марок, и ни одному из четырех полицейских чинов, допрашивающих меня, выдвинутое против меня обвинение не показалось странным.

Но все нарушения и проступки меркнут при сравнении с таким жутким преступлением, как хождение по траве. В Германии ходить по траве не разрешается нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Трава в Германии — предмет поклонения. В Германии прогулка по траве расценивается как святотатство, это еще кощунственней, чем пляска под волынку в мусульманской мечети. Даже собаки почитают немецкую траву: ни одна немецкая собака даже в мыслях не ступит на газон. Если вам в Германии попадется собака, бегающая по траве, то можете быть уверены — эта собака принадлежит какому-нибудь нечестивому иноземцу. У нас в Англии, когда хотят оградить какое-нибудь место от собак, его окружают сеткой, укрепленной на шестифутовых столбах, да еще поверху утыкают острыми кольями. В Германии же в центре такого места вешают табличку: «Hunden verboten»[12] и любая собака, в жилах которой течет немецкая кровь, посмотрев на эту табличку, пойдет прочь. Я видел в одном немецком парке, как садовник в специальной войлочной обуви осторожно прошел на лужайку и, сняв оттуда жука, мрачно, но весьма решительно посадил его на гравий и долго стоял, следя, чтобы жук не попытался вернуться на траву; а жук поспешно сполз в канаву и потрусил вдоль дорожки, на которой было обозначено: «Ausgang».[13]

В Германии каждому сословию в парке отведена специальная дорожка, и никто, под угрозой лишения всех прав состояния, не имеет права воспользоваться дорожкой, предназначенной другим. Есть специальные дорожки для велосипедистов и специальные дорожки для пешеходов, аллеи для верховой езды, проезды для легковых экипажей и проезды для ломовых извозчиков, тропинки для детей и для «одиноких дам». Отсутствие специальных маршрутов для лысых мужчин и «передовых женщин» всегда казалось мне досадным упущением.

В дрезденском Grosse Garten[14] я как-то встретил пожилую даму, в растерянности стоящую на пересечении семи дорожек. Над каждой висели угрожающие объявления, сулящие суровые кары всякому, для кого эти дорожки не предназначены.

— Прошу извинить меня, — сказала пожилая дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки, — не могли бы вы сказать мне, кто я и куда мне идти?

Разглядев ее повнимательней, я пришел к выводу, что она «взрослая» и «пешеход», и указал ей дорожку. Посмотрев на дорожку, дама разочарованно повернулась ко мне.

— Но мне туда не надо, — сказала она. — Можно мне пойти по этой?

— Упаси вас Бог, мадам! — ответил я. — Эта дорожка специально для детей.

— Но я им не сделаю ничего дурного, — сказала старушка улыбнувшись.

Есть старушки, которые не делают детям ничего дурного, и она была явно из таких.

— Мадам, — ответил я, — если бы это зависело от меня, я бы доверил вам идти по этой дорожке, даже если бы там находился мой первородный сын. Я всего лишь ставлю вас в известность о законах, существующих в этой стране… Если вы, особа явно взрослая, отважитесь пойти по этой дорожке, вас неминуемо ждет штраф, а то и тюремное заключение. Вот ваша дорожка, здесь недвусмысленно написано: «Nur fur Fussganger»,[15] и послушайтесь моего совета: ступайте-ка поскорей по ней, а то стоять и размышлять здесь не разрешается.

— Но она идет совсем не в ту сторону, куда мне надо, — сказала старушка.

— А это уж не нам решать. Она идет в ту сторону, куда нам следует идти, — ответил я, и на этом мы расстались.

В немецких парках есть скамейки, на которых висят таблички: «Только для взрослых!»,[16] и маленький немец, как бы ни хотелось ему посидеть, прочтя эту надпись, двинется дальше на поиски скамейки, на которой разрешается сидеть детям; и он аккуратно залезает на эту скамейку, стараясь не запачкать деревянное сиденье грязными ботинками. Представьте себе, что в парке Реджент или Сент-Джемс появилась скамейка с табличкой: «Только для взрослых». Туда сбегутся дети со всей окрути и устроят драку за право посидеть на ней. Ну а взрослому не удастся и на полмили приблизиться к ней, такая там будет густая толпа ребятни. Маленький же немец, случайно севший на такую скамейку, пулей слетит с нее, как только ему укажут на его оплошность, и пойдет прочь, низко опустив голову и покраснев до корней волос от стыда и раскаяния.

Было бы неверным утверждать, что германское правительство не проявляет отеческой заботы о детях. В немецких парках и садах для них отводятся специальные площадки,[17] где имеется куча песка. Здесь можно вволю попечь куличиков и понастроить замков. Куличик, выпеченный из песка в каком-нибудь ином месте, кажется маленькому немцу безнравственным. Удовольствия ему он не доставит; душа его восстанет против него.

«Этот куличик, — скажет он себе, — выпечен не из того песка, который правительство специально выделило для этих целей. Он выпечен не в том месте, которое правительство специально отвело для их выпечки. Я ему совсем не рад, это не куличик, а беззаконие». И пока его отец не заплатит, как полагается, штраф и, как полагается, не всыплет ему, совесть его будет неспокойна.

Есть в Германии еще одна примечательная вещь, достойная изумления, — обыкновенная детская коляска. Что можно делать с Kinderwagen, как она здесь называется, а что нельзя — об этом повествует не одна страница свода законов, прочтя которые, вы приходите к выводу, что человек, которому удалось провезти коляску через город и ни разу не нарушить при этом закона, — прирожденный дипломат. Запрещается везти коляску слишком быстро, а равно и слишком медленно. Вы со своей коляской не должны препятствовать движению, и, если вам кто-то движется навстречу, вы обязаны уступить ему дорогу. Если вам надо оставить коляску, то сделать это можно лишь на специально отведенной стоянке; попав же на стоянку, вы обязаны оставить там коляску. Запрещается с коляской переходить улицу; если же вы живете на другой стороне — тем хуже для вас и вашего ребенка. Ее нельзя бросать где попало, а появляться с ней можно лишь в определенных местах. В Германии, доложу я вам, стоит полчаса погулять с коляской — и неприятностей вам хватит на целый месяц. Если кому из нашей молодежи захочется иметь дело с полицией, пусть едет в Германию и прихватит с собой детскую коляску.

В Германии после десяти вечера вы обязаны запирать входные двери на засов; играть на пианино после одиннадцати запрещается. В Англии ни мне, ни моим друзьям как-то не приходило в голову играть на пианино после одиннадцати; однако когда вам говорят, что это запрещается, — дело совсем другое. Здесь, в Германии, до одиннадцати я ощущал полное равнодушие к фортепианной музыке, однако же после одиннадцати я испытывал страстное

желание послушать «Мольбу девы» или увертюру к «Зампа». Для любящего закон немца музыка после одиннадцати перестает быть музыкой; она становится безнравственной и радости ему не доставляет.

Один лишь человек по всей Германии осмеливается в своих помыслах вольничать с законом, и это — немецкий студент, да и тот не выходит за строго определенные рамки. По обычаю, ему предоставлены особые привилегии, но они довольно ограничены и четко очерчены. Например, немецкий студент может напиться пьяным и уснуть в канаве; ничего ему за это не будет, надо только немного дать полицейскому, который его подобрал и отвел домой. Но для этой цели отведены исключительно канавы переулков. Немецкий студент, чувствуя, что его влечет в объятия Морфея, обязан собрать последние силы и завернуть за угол, где, уже ни о чем не беспокоясь, можно рухнуть без чувств. В определенных кварталах города ему разрешается звонить в дверные колокольчики. В этих кварталах плата за квартиру ниже, чем в других районах города; семьи, живущие здесь, с успехом выходят из положения, установив тайный код, по которому можно узнать, звонит свой или чужой. Когда вы собираетесь навестить своих знакомых, живущих в таких кварталах, вам необходимо прежде выведать этот тайный код, в противном же случае на ваш настойчивый звонок вам могут ответить ушатом воды.

Кроме того, немецкому студенту разрешается опускать фонари,[18] но опускать их в большом количестве как-то не принято. Как правило, подгулявший немецкий студент ведет счет опущенным фонарям и, дойдя до полудюжины, успокаивается. Еще ему разрешается до полтретьего ночи орать и петь по дороге домой; в отдельных ресторанах ему разрешается обнимать официанток. Для соблюдения приличия официантки в ресторанах, часто посещаемых студентами, набираются из пожилых и степенных женщин, так что нежные чувства, выказываемые по отношению к ним студентами, приобретают отчасти сыновний характер и не вызывают нареканий. Очень уж они уважают закон, эти немцы.

Глава X

Баден-Баден с точки зрения туриста. — Красота раннего утра, как она видится накануне. — Расстояние, измеренное по карте. — Оно же, измеренное ногами. — Несознательность Джорджа. — Ленивая машина. — Велосипед, согласно рекламе, — лучший отдых. — Велосипедисты с рекламного плаката: во что они одеваются, как ездят. — Грифон в роли домашнего животного. — Собака с чувством собственного достоинства. — Оскорбленная кобыла

В Бадене, о котором одно лишь могу сказать, что это курорт как курорт, начиналась собственно-велосипедная часть нашего путешествия. Мы запланировали десятидневный пробег; маршрут проходил через весь Шварцвальд и заканчивался спуском по Донау-Таль,

живописнейшей долине, тянущейся от Тутлингена до Зигмарингена. Эти двадцать миль — самый красивый уголок Германии: еще неширокий Дунай тихо вьется среди ветхозаветных деревушек, среди древних монастырей, раскинувшихся на зеленых лугах, где и по сию пору можно встретить босоногого монаха с выбритой тонзурой, который, препоясав чресла крепкой веревкой, с посохом в руке пасет свою овечью паству; среди скал, поросших лесом; среди гор, обрывающихся отвесными уступами, где каждая выходящая к реке вершина увенчана руинами крепости, церкви или замка, и откуда открывается чудесный вид на Фосгеские горы; где половина населения морщится, как от боли, когда заговариваешь с ними по-французски, а вторая половина чувствует себя оскорбленной, если обратиться к ним по-немецки, и все они приходят в негодование при первых же звуках английской речи; при таком положении вещей общение с населением превращается в сплошную нервотрепку.

Полностью выполнить программу нам не удалось: наши возможности весьма заметно отстают от наших желаний. В три часа дня легко говорить и верить: «Завтра встанем в пять, в полшестого перекусим, а в шесть тронемся».

— Тогда доберемся до места еще до полуденной жары, — замечает один.

— Летом утро — лучшее время. А ты как считаешь? — добавляет другой.

— И спору быть не может.

— Прохладно, свежо!

— А как восхитительны предрассветные туманы!

В первое утро компания еще крепится. Все собираются к половине шестого. Все молчат, лишь изредка кто-то бросает реплику; ворчат по поводу еды, а также и по всем другим поводам; все раздражены, атмосфера опасно накаляется; все ждут, что будет. Вечером раздается голос Искусителя:

— А по-моему, если выехать в половине седьмого, то времени будет предостаточно.

Добродетель протестует слабым голосом:

— Но мы же договаривались…

Искуситель чувствует свою силу.

— Договор для человека или человек для договора? — толкует он Писание на свой лад. — А потом, вы же всю гостиницу поднимете на ноги; подумайте о несчастной прислуге.

Добродетель шепчет едва слышно:

— Но ведь здесь все встают рано.

— Если бы их не будили, они бы, бедняги, и не вставали! Скажите: завтрак ровно в половине седьмого, всех это устроит.

Таким образом, Лень удается спрятать под маской Добра, и вы спите до шести, объясняя своей совести, что делаете это исключительно из любви к ближнему, чему она, однако, верить не желает. Были случаи, когда приступы любви к ближнему затягивались до семи.

В той же степени, в какой наши желания не соответствуют нашим возможностям, расстояние, измеренное циркулем по карте, не соответствует расстоянию, отмеренному ногами.

— Десять миль в час, семь часов в пути — семьдесят миль, за день легко отмахаем.

— А подъемы?

— А спуски? Ну ладно, пусть будет восемь миль в час и шестьдесят миль за день. Gott im Himmel![19]

Хороши мы будем, если не сумеем выдать восемь миль в час! Меньше кажется невозможным — на бумаге.

Но в четыре дня голос Долга гремит уже не так трубно:

— Нет, и разговоров быть не может, надо ехать дальше!

— Да не шуми ты, куда спешить? Прекрасный вид отсюда, как считаешь?

— Очень. Не забывай, до Сан-Блазьена еще двадцать пять миль.

— Сколько?

— Двадцать пять, чуть побольше.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что мы проехали лишь тридцать пять миль?

— От силы.

— Чушь! Твоя карта врет.

— Сам знаешь, такого быть не может.

— С самого утра мы работаем как заводные.

— Ну, это ты брось. Во-первых, мы выехали только в восемь.

— Без четверти восемь.

— Ну, без четверти восемь. И отдыхали каждые шесть миль.

— Мы останавливались полюбоваться окрестностями. Раз уж приехал посмотреть страну, будь добр, посмотри ее.

— И пришлось брать несколько крутых подъемов.

— И кроме того, сегодня на диво жаркий день.

— Не забудь, до Сан-Блазьена двадцать пять миль, и это все, что я хочу сказать.

— Еще подъемы будут?

— Да, два. И один спуск.

— Мне помнится, ты говорил, что до Сан-Блазьена будет спуск?

— Да, последние десять миль. А всего до Сан-Блазьена двадцать пять.

— Но ведь до Сан-Блазьена не должно быть никаких селений. А это что за деревушка у озера?

— Это не Сан-Блазьен, до него еще далеко. Кончайте, ребята, надо ехать.

— Как бы нам не перестараться. В таких вещах необходима умеренность. Славная деревушка, как она там на карте — Титизее? А воздух там, наверное…

— Я что? Я не против. Вы же сами предложили ехать до Сан-Блазьена.

— На что нам сдался этот Сан-Блазьен? Что на нем, свет клином сошелся? Какой-нибудь паршивенький городишко. А эта Титизее куда приятнее.

— И недалеко.

— Пять миль.

Все хором:

— Останавливаемся в Титизее!

Это расхождение теории с практикой Джордж открыл в первый же день, как мы сели за руль.

— По-моему, — сказал Джордж — он ехал на одноместном велосипеде, а мы с Гаррисом на тандеме держались немного впереди, — мы договаривались, что в гору поднимаемся на поезде, а с горы спускаемся на велосипедах.

— Да, — сказал Гаррис, — в общем, так оно и будет. Но ведь не на каждую же гору в Шварцвальде ходят поезда.

— Есть у меня подозрение, что они вообще здесь не ходят, — проворчал Джордж, и на минуту воцарилась тишина.

— Кроме того, — заметил Гаррис, развивая тему, — тебе же самому не захочется ехать только под гору. Это будет нечестно. Любишь кататься, люби и саночки возить.

Опять воцарилась тишина, которую через минуту нарушил уже Джордж.

— Вы, ребята, меня не особо-то жалейте, — сказал Джордж.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гаррис.

— Я хочу сказать, — ответил Джордж, — что, если нам по пути подвернется поезд, не бойтесь оскорбить меня в лучших чувствах. Лично я готов штурмовать эти горы в поезде, пусть даже это и нечестно. Оставьте уж это на моей совести. Всю неделю я вставал в семь утра, так что за ней небольшой должок. Итак, обо мне не беспокойтесь.

Мы пообещали не забывать этого, и путешествие продолжалось в гробовой тишине, пока ее снова не нарушил Джордж.

— Какой, ты говоришь, у тебя велосипед? — спросил Джордж.

Гаррис ответил. Я забыл, какой он там был марки, но это несущественно.

— Ты уверен? — не отставал Джордж.

— Конечно, уверен, — ответил Гаррис, — а в чем дело?

— Да так, просто тебя надули, — сказал Джордж.

— Как это? — спросил Гаррис.

— На плакатах рекламируется совсем другая машина, — объяснил Джордж. — Один такой рекламный плакат висел на тумбе на Слоун-стрит, он попался мне за день-два до нашего отъезда. На велосипеде именно твоей марки ехал человек, в руках он держал знамя. Он ничего не делал, это и слепому было видно: он просто сидел в седле, и воздух свистел у него в ушах. Велосипед катился сам по себе, и это у него хорошо получалось. Твоя же махина всю работу взвалила на меня. Это негодная лентяйка: если не крутить педали, она и с места не стронется. На твоем месте я бы стал жаловаться.

Если задуматься, то редко какой велосипед выполняет обещания, данные им в рекламе. Из всех плакатов, что я могу вспомнить, лишь один изображал человека, который что-то делал. Но за ним гнался бык. В ситуациях ординарных задача художника — убедить сомневающегося неофита в том, что занятие велоспортом сводится к сидению в роскошном седле и быстрому перемещению в желаемом направлении под воздействием невидимых небесных сил.

Обычно на плакатах изображают даму, и тут-то начинает казаться, что никакие водные процедуры не окажут на усталое тело и истомленную душу столь благоприятное воздействие, как езда на велосипеде по пересеченной местности. Даже феям, парящим на летней тучке, не живется так беззаботно, как плакатной велосипедистке. Ее костюм идеален для велосипедных прогулок в жаркую погоду. Пусть ей не удастся пообедать — чопорные хозяйки не пустят ее и на порог своего заведения, пусть ее арестовывает тупой полицейский — в целях общественной безопасности предварительно завернув в рогожу, — ее это не волнует. Вверх и вниз, через поток транспорта, с ловкостью, которой позавидует кошка, по дорогам, на чьих рытвинах и ухабах рассыпался не один паровой каток, мчится она — воплощение жизнерадостности; ее волосы развеваются по ветру, ее сильфидные[34] формы четко очерчены в воздухе; одна нога у нее на седле, другая — небрежно покоится на фаре. Иногда она снисходительно усаживается в седло, поставив ноги на педали, закуривает сигарету и машет над головой китайским фонариком.

Куда реже за руль такой машины усаживают обыкновенного мужчину. Это не столь совершенный акробат, как дама, но и он способен выкидывать кое-какие несложные фортели: стоять на седле, размахивая при этом флагом; пить во время езды пиво или виски. Сидеть часами на велосипеде, ничего не делая, — малопривлекательное занятие для темпераментного человека, приходится придумывать какое-нибудь умственное занятие. И эти моменты мы можем наблюдать: вот он, привстав на педалях, приближается к вершине горы, чтобы приветствовать солнце или обратиться со стихотворным посланием к окружающему пейзажу.

Иногда на плакатах изображена парочка велосипедистов, и тогда-то начинаешь понимать, насколько превосходит велосипед по части флирта старомодные гостиные и садовые калитки. Убедившись, что велосипеды именно той марки, какая им требуется, они садятся в седла. А больше им не о чем думать, как только вспоминать старую добрую сказку. По тенистым переулочкам, по базарным площадям оживленных городов весело катятся колеса «Лучших в Британии моделей компании «Бермондси» с нижним кронштейном» или «Моделей «Эврика» компании «Кэмбервелл» с цельносварной рамой». Машины великолепные: не надо ни нажимать на педали, ни рулить. Положитесь на них — скажите, когда вам нужно быть дома, и все, больше ничего не потребуется. Эдвин может свешиваться с седла и нашептывать на ушко Анжелине вечную милую ерунду, а Анжелина, чтобы скрыть краску смущения, может разворачиваться лицом к горизонту — волшебный велосипед сам по себе следует заданным курсом.

И всегда светит солнце, и всегда сухие дороги. И нет на плакате ни сурового папаши, не спускающего глаз со своей дочери, ни тети, появляющейся всегда некстати, ни исчадия ада — маленького братца, подсматривающего из-за угла, — ничто им не мешает. Боже мой! Ну почему не было «Лучших в Британии» и «Эврик» в годы моей юности?!

А вот «Лучший в Британии» или «Эврика» стоит, прислонившись к воротам: он тоже устает. Весь день трудился он в поте лица, катая наших молодых людей. Люди добросердечные, они слезли и дали ему отдохнуть. Они сидят на травке под сенью величественных деревьев; травка мягкая, не мокрая. У ног их струится поток. Кругом тишь и благодать.

Испокон веков рекламные художники стремятся изобразить тишь и благодать.

Но я не прав, утверждая, что рекламный велосипедист никогда не крутит педали. Теперь я припоминаю, что попадались мне на плакатах джентльмены, работающие изо всех сил, я бы даже сказал, из последних сил. Они изнемогают от тяжкого труда, они отощали, пот выступает на лбу; ясно, что, окажись за плакатом подъем, они спасуют перед ним или падут бездыханными. И все это оттого, что они упорно ездят на машинах дурного качества. Если бы они ездили на «Путни-популяр» или на «Баттерси Баундер», как сообразительный молодой человек в центре плаката, они были бы избавлены от всех этих мучений. Тогда единственное, на что им пришлось бы тратить силы, как бы в знак благодарности, — это выглядеть счастливыми, да разве что еще притормозить, когда машина начнет в молодом задоре терять голову и помчится слишком быстро.

Вы, выбившиеся из сил молодые люди, сидящие на жерновах, вымотавшиеся так, что уже не обращаете внимания на проливной дождь; вы, уставшие девушки с мокрыми спутанными волосами, не знающие, который час, и страстно желающие выругаться, но не умеющие этого делать; вы, солидные лысые мужчины, пыхтящие и ворчащие, медленно исчезающие в дали бесконечной дороги; вы, раскрасневшиеся, убитые горем почтенные матроны, до боли в ногах жмущие на медленно крутящиеся педали, — почему вы не позаботились купить «Лучший в Британии» или «Эврику»? Почему на земле преобладают велосипеды несовершенных моделей?

Или с велосипедами творится то же, что и со всем другим? Неужели Рекламу не удается воплотить в Жизнь?

Что меня в Германии всегда чарует и восхищает — это немецкая собака. В Англии устаешь от старых пород, все знают их как свои пять пальцев: мастиф — собака цвета сливового пудинга; терьер — черный, белый, взъерошенный — всякие встречаются, но всегда злой; колли, бульдог — ничего нового. В Германии же — тьма разновидностей. Там вы встретите собак, каких никогда и нигде больше не увидите; вы и не догадаетесь, что это собаки, пока они на вас не залают. Это так свежо, так интересно. В Зигмарингене Джордж подманил какую-то собаку и обратил на нее наше внимание. Она была похожа на помесь трески с пуделем. Не

берусь утверждать, может, она и не была помесью трески с пуделем. Гаррис хотел ее сфотографировать, но она перемахнула через забор и юркнула в кусты.

Я не знаю, какую цель преследуют немецкие собаководы; свои замыслы они держат в строжайшей тайне. Джордж предположил, что они пытаются вывести грифона. Его гипотеза не лишена оснований, и мне не раз попадались отдельные экземпляры, внешний вид которых свидетельствовал о том, что эксперимент близок к удачному завершению. И все же мне хочется верить, что эти особи — всего лишь игра случая. Немцы — народ практичный, а зачем им нужны грифоны — понять невозможно. Если они захотят вывести какую-нибудь диковинку, то для этого уже есть такса! Что еще? К тому же держать грифона дома неудобно, все будут постоянно наступать ему на хвост. Я считаю, что немцы пытаются вывести русалку, которую можно было бы научить ловить рыбу.

Ибо немец не терпит лености. Ему нравится, когда его собака работает, и немецкая собака любит работать, в этом не может быть сомнений. Жизнь английского пса покажется ей жалким прозябанием. Представьте себе сильное, деятельное и смышленое животное с весьма живым темпераментом, обреченное на полное бездействие двадцать четыре часа в сутки! Поставьте себя на его место! Неудивительно, что нашему псу кажется, что его не понимают, он требует неизвестно что и постоянно устраивает со всеми склоку.

Немецкой же собаке, наоборот, есть чем заняться. Она вся в делах. Только посмотрите, как она вышагивает, впряженная в молочную тележку! Ни один церковный староста при сборе пожертвований не испытывает большего довольства собой! Никакой настоящей работы она не делает — тележку толкает молочница, собака же лает; так уж видится ей разделение труда. Вот что она говорит себе: «Моя старуха не умеет лаять, но она может толкать. Отлично!»

Приятно видеть, с каким увлечением и гордостью выполняет собака свою работу. Мимо проходит какой-то праздношатающийся пес и что-то говорит, должно быть, язвит по поводу жирности молока. Наша собака резко останавливается, не обращая внимания на транспорт:

— Простите, вы что-то сказали насчет нашего молока?

— Ничего подобного, — с невинным видом заявляет пес. — Я всего лишь сказал, что сегодня хороший денек, и спросил, почем нынче колодезная вода?

— Ах, вы спросили, почем нынче колодезная вода? Вам это интересно знать?

— Да, будьте добры, если вас это не затруднит.

— С удовольствием вам отвечу. Вода стоит…

— Хватит, пошли! — говорит старушка.

Она устала, ей жарко и не терпится поскорей закончить обход клиентов.

— Нет, подожди. Ты слышишь, на что он намекает?

— Ладно, брось! Вот едет трамвай, сейчас нас всех задавит.

— Нет, не брошу. Этого нельзя так оставлять. Он спрашивает, почем колодезная вода, и он узнает! Так вот, она стоит в двадцать раз дороже…

— Ох, загонишь ты меня в гроб! — патетически восклицает старушка, изо всех своих старческих сил пытаясь оттащить ее. — Боже мой! Знала бы, оставила тебя дома!

На них мчится трамвай; их ругает извозчик; с другой стороны улицы к ним спешит еще одна огромная псина, впряженная в хлебную тележку, явно боясь опоздать принять личное участие в скандале; за ней бежит плачущая девочка; собирается небольшая толпа; к месту происшествия спешит полицейский.

— Она стоит, — говорит собака молочницы, — ровно в двадцать раз дороже, чем дадут за твою шкуру после того, как я тебя отделаю.

— О, вам так кажется?

— Да, жалкий потомок французского пуделя, пожиратель капусты…

— Сил моих больше нет! — говорит несчастная молочница. — Я говорила, вгонит она меня в гроб.

Но собака слишком занята и не обращает на нее внимания. Через пять минут, когда движение восстановлено, девочка булочника собрала свои перепачканные в пыли булочки, а полицейский удалился, переписав фамилии и адреса всех, оказавшихся в тот момент на улице, она снисходительно оглядывается.

— Немного досадно, — соглашается она. Но тут же как ни в чем не бывало беззаботно добавляет: — Но все же я ему показала, почем нынче ведро воды. Впредь не будет совать нос не в свои дела.

— Будем надеяться, — говорит старушка, удрученно глядя на залитую молоком улицу.

Но самое любимое ее развлечение — это подождать наверху другую собаку и затеять с ней бег наперегонки вниз по спуску. Тут хозяин занят главным образом тем, что бежит за тележкой и подбирает все, что с нее сыплется: буханки, капусту, рубашки. Внизу собака останавливается и ждет хозяина.

— Ну как, неплохой забег? — тяжело отдуваясь, замечает она, когда к ней подходит человек, нагруженный до подбородка. — Я бы обогнала ее, если бы этот глупый мальчишка не путался под ногами. Надо же было ему попасться мне на дороге, когда я свернула за угол! Ты заметил его? А я нет, вот жалость! Почему он так плачет? Да я сшибла его с ног и пробежалась по нему. А кто просил его путаться под ногами? Ужасно! Как это люди могут оставлять детей без присмотра? Ведь они же страшно мешают. Ба, да что-то, кажется, просыпалось? Надо привязывать покрепче, зря ты об этом не побеспокоился. Тебе и в голову не приходило, что на спуске я могу развить скорость двадцать миль в час? Я понимаю, ты не ожидал, что собака старика Шнейдера так легко обойдет меня. Но, увы, это так, и ничего не поделаешь. Ты считаешь, что все собрал? Тебе так кажется? Мне бы на твоем месте так не казалось. Я бы поднялась вверх и еще разок проверила. Ты слишком устал? Ну что ж, твое дело! Только уж потом не вини меня, если чего-нибудь не досчитаешься.

Она очень самонадеянна. Со стопроцентной уверенностью она сворачивает во вторую улицу направо, и никто не сможет убедить ее, что надо свернуть в третью. Она уверена, что успеет перебежать дорогу, и ее в этом не переубедишь, пока она не заметит перевернутую тележку. Тут она признает свою ошибку, это так. Но что проку? Обычно это здоровенная псина размером и силою с молодого бычка, а ее напарник — немощный старик, хилая старушка или маленький ребенок, так что она поступает по-своему. Самое страшное наказание, на какое способен хозяин, — это оставить ее дома и самому впрячься в тележку. Но наши немцы слишком добросердечны, чтобы применять его слишком часто.

Невозможно поверить, что ее впрягают в тележку для того, чтобы доставить удовольствие не ей, а кому-то другому; и мне кажется, что немецкий крестьянин придумал эту аккуратненькую упряжь и изысканную тележечку исключительно с целью потрафить собаке. В других странах — Бельгии, Голландии и Франции — я видел, как дурно обращаются и как много заставляют работать этих гужевых собак; в Германии же — ничего подобного. Немцы беспардонно поносят своих животных. Я видел, как какой-то немец стоял перед своей кобылой и осыпал ее всевозможными бранными словами, какие только лезли ему на язык. Но кобыла не обращала на них внимания. Я видел, как немец, устав ругаться, призвал на помощь свою жену. Когда жена явилась, он поведал ей, что натворила кобыла. Рассказ довел женщину чуть ли не до белого каления, и они принялись с двух сторон поливать несчастную скотину бранью. Они поносили ее покойную мать, оскорбляли отца; они язвительно прошлись по поводу ее внешности, ее умственных способностей, ее нравственных устоев, ее пригодности на роль лошади. Животное некоторое время с примерной кротостью сносило оскорбления, а затем поступило так, как и следует поступать в подобных обстоятельствах. Не теряя чувства

собственного достоинства, она степенно удалилась. Мадам вернулась к своей стирке, а хозяин пошел за кобылой по улице, продолжая честить ее на все корки.

Более доброго народа, чем немцы, в природе не существует. Жестокость к животным или детям — вещь, в этой стране неслыханная. Кнут для них — музыкальный инструмент, его хлопанье раздается с утра до ночи, но однажды в Дрездене я был свидетелем того, как разгневанная толпа чуть не линчевала извозчика-итальянца, осмелившегося ударить свою лошадь. Германия — единственная страна, где путешественник, с удобством разместившийся в наемном экипаже, может быть уверен, что с его благородным добродушным другом, впряженным в оглобли, не будут плохо обращаться и не перегрузят работой.

Глава XI

Шварцвальдский хутор: общительность его обитателей. — Его аромат. — Джордж решительно отказывается остаться в постели после четырех утра. — Дорога, которая не дает вам скучать. — Мое шестое чувство. — Неблагодарная компания. — Гаррис в роли ученого. — Деревня: где она оказалась и где ей следовало быть. — Джордж: его план. — Променад а-ля франсе. — Немецкий кучер — спящий и бодрствующий. — Человек, который насаждает английский язык за рубежом

Однажды, вымотавшись и будучи не в силах добраться до ближайшего города или деревни, мы заночевали на хуторе. Шварцвальдский хутор очаровывает общительностью его многочисленных обитателей. В соседней комнате живут коровы, наверху — лошади, в кухне — утки и гуси; а поросята, дети и цыплята живут повсюду.

Вы одеваетесь, как вдруг позади вас раздается хрюканье:

— Доброе утро! Не завалялось ли здесь часом каких-нибудь картофельных очисток? Нет, вижу, что нет. До свидания!

Затем вы слышите кудахтанье и видите высунувшуюся из-за угла старую курицу.

— Славное утро, как по-вашему? Не будете возражать, если я занесу к вам червячка? В этом доме трудно найти место, где можно было бы закусить тихо и спокойно. Когда у меня пошли цыплята, я полюбила есть не спеша; их у меня двенадцать, и нет от них покою. Как завидят что съестное, так прямо рвут из клюва. Не будете возражать, если я залезу к вам на кровать? Может, здесь меня не найдут?

Пока вы одеваетесь, в дверь просовывается множество любопытных мордашек; безусловно, они считают, что в комнате разместился передвижной зверинец. Не разобрать, кто это — мальчики или девочки: остается лишь уповать на то, что все это особы мужеского пола. Закрывать дверь бесполезно — все равно ее нечем запереть, и стоит вам только отойти, как ее тут же снова открывают. Ваш завтрак похож на трапезу Блудного Сына, как ее обычно

изображают: вы вкушаете пищу в компании парочки свиней; с порога на вас осуждающе поглядывает стайка гусей; по их недовольному виду и шипению можно понять, что о вас говорят гадости. Случается, что в комнату снисходительно заглядывает корова.

Я думаю, что это устройство по типу Ноева ковчега и сообщает шварцвальдскому дому характерный аромат. Это благоухание вы ни с чем не спутаете. Чтобы представить его, смешайте запахи роз, лимбургского сыра и бриалина, немного вереска и лука, добавьте свежесть морского воздуха и трупный смрад. Какой-нибудь отдельный запах неразличим, но вы чувствуете, что все они здесь — все ароматы, какие только встречаются на земле. Обитателям этих домов такой букет приходится по вкусу. Они не открывают окон, и он не теряется; его хранят в закупоренном виде. Если вам захочется чего-то иного — ступайте на улицу и вдыхайте аромат фиалок и сосен; дом же есть дом; через некоторое время, как мне говорили, вы привыкаете к нему, перестаете замечать и не можете заснуть в любой другой атмосфере.

На следующий день нам предстоял дальний путь, и хотелось встать пораньше, не позже шести, если мы, конечно, не перебудим весь хутор. Мы справились у хозяйки, возможно ли это. Она ответила, что возможно. Ее самой в это время не будет: завтра ей надо в город, за восемь миль, и вряд ли она обернется до семи; но наверняка муж или кто-нибудь из ребят к этому часу зайдут домой пообедать. Так что кто-нибудь нас разбудит и соберет на стол.

Получилось так, что будить нас не пришлось. Мы проснулись в четыре сами по себе. В четыре мы встали, чтобы избавиться от шума и грохота, от которых болела голова. Когда летом встают крестьяне в Шварцвальде — сказать вам не берусь; нам казалось, что они вставали всю ночь. А встав, шварцвальдец первым делом надевает пару крепких башмаков на деревянной подошве и обходит дом. Пока он три раза не пройдется вверх-вниз по лестницам, он не считает, что встал. А почувствовав, что окончательно проснулся, он тут же поднимается в конюшню и будит лошадь. (Дома в Шварцвальде строят на крутых склонах, и получается, что конюшня и хлев — наверху, а сеновал — внизу). Похоже, что и лошади полагается обойти дом; проследив за этим, человек спускается в кухню и принимается колоть дрова; наколов достаточно дров, он испытывает чувство законной гордости и затягивает песню. Приняв все это во внимание, мы пришли к заключению, что лучше всего нам последовать их замечательному примеру. Даже Джордж встал в то утро без обычных проволочек.

В половине пятого мы позавтракали на скорую руку, а в пять уже вышли. Наш путь лежал через перевал, и, порасспросив деревенских о дороге, мы поняли, что скучать нам не придется. Такие дороги всегда выходят на то место, откуда начинаются, а если это и не так, то вы страстно желаете, чтобы она привела вас назад, дабы, по крайней мере, знать, где находишься. Я с самого начала предвидел все наши злоключения, и верно: не прошли мы и двух миль, как дорога разделилась на три. Изъеденный червями указатель сообщал, что левая ведет в место, о котором мы и не слыхали, — на карте его не было; вторая стрелка, которая должна была указывать, куда ведет средняя дорога, отсутствовала. Правая дорога — тут мы были единодушны — вела обратно в деревню.

— Старик сказал определенно, — напомнил нам Гаррис, — держитесь горы.

— Какой горы? — задал уместный вопрос Джордж.

С полдюжины гор окружало нас — одни были побольше, другие поменьше.

— Он сказал нам, — продолжал Гаррис, — что мы должны выйти к лесу.

— Охотно этому верю, — заметил Джордж. — Все дороги ведут в лес.

И действительно, горы, насколько хватало взгляда, были покрыты густым лесом.

— И он сказал, — пробормотал Гаррис, — что до вершины мы доберемся через полчаса.

— Вот тут-то, — сказал Джордж, — я начинаю ему не верить.

— Как же нам быть? — сказал Гаррис.

Я удивительно хорошо ориентируюсь на местности. Это не добродетель, хвалиться тут нечем. Это какое-то шестое чувство, я тут ни при чем. А если на пути и попадается всякая ерунда, вроде гор, обрывов, рек и прочих преград, то я не виноват. Мое чувство безупречно, а вот природе случается и ошибаться. Я повел их по средней дороге. Эта средняя дорога оказалась на диво бесхарактерной: и четверти мили не могла пройти она в одном направлении; попетляв туда-сюда по горе, через три мили она внезапно кончилась осиным гнездом; не такой она оказалась, как я представлял. Если бы средняя дорога пошла в том направлении, куда ей положено идти, она вывела бы нас туда, куда нам было нужно, уж в этом-то я уверен.

Но даже и в такой ситуации я был бы готов и дальше употребить свой дар на поиски нового пути, снизойди на меня вдохновение. Но я не ангел — в чем честно признаюсь — и не люблю, когда мне платят черной неблагодарностью, осыпая бранью. К тому же я не был уверен, что Джордж с Гаррисом безропотно последуют за мной. Так что я умыл руки, и на освободившееся место заступил Гаррис.

— Ну что, — сказал Гаррис, — теперь-то твоя душенька довольна?

— Вполне, — отвечал я, восседая на груде камней. — Во всяком случае, я довел вас в целости и сохранности. Я бы повел вас и дальше, но художника надо поощрять. Вы недовольны мною потому, что не знаете, где находитесь, а так как вы ничего не знаете, то можете думать, что хотите. Но я молчу, я не жду благодарностей. Ступайте своим путем, с меня хватит.

Должно быть, речь моя была горька, но я не мог совладать с собою: за весь наш изнурительный путь я не услышал ни одного доброго слова.

— Пойми нас правильно, — сказал Гаррис, — мы с Джорджем понимаем, что без твоей помощи нас бы здесь не оказалось. Тут мы отдаем тебе должное. Но чувствам свойственно ошибаться. Я предлагаю заменить инстинкт наукой, которая точна. Ну-с, где у нас солнце?

— Вам не кажется, — сказал Джордж, — что если мы вернемся в деревню и наймем за марку мальчишку-проводника, то в конце концов сэкономим время?

— На этом мы потеряем не один час, — решительно сказал Гаррис. — Предоставьте дело мне. Я об этом читал, и меня это заинтересовало. — Он достал часы и стал крутиться на месте.

— Нет ничего проще, — продолжал он. — Направляешь часовую стрелку на солнце и делишь угол между нею и двенадцатью пополам; так находишь север.

Он еще немного повозился и наконец определил, где что.

— Ага, — сказал он, — север нашли. Он там, где осиное гнездо. Давайте сюда карту.

Мы вручили ему карту, и он, сев лицом к осиному гнезду, стал изучать ее.

— Тодтмоос отсюда, — сказал он, — на юго-юго-запад.

— Откуда отсюда? — спросил Джордж.

— Ну отсюда, где мы находимся, — ответил Гаррис.

— А где мы находимся? — сказал Джордж.

Это слегка обескуражило Гарриса, но ненадолго, вскоре он вновь приободрился.

— Неважно, где мы, — сказал он. — Где бы ни были, Тодтмоос находится на юго-юго-западе. Пошли, нечего терять время.

— Не совсем понятно, с чего это ты взял, — сказал Джордж, поднимаясь и надевая рюкзак, — но, по-моему, это неважно. Мы здесь набираемся здоровья, и это прекрасно!

— Все будет в порядке, — уверенно сказал Гаррис веселым голосом, — до десяти мы доберемся до Тодтмооса, не беспокойтесь. А в Тодтмоосе мы что-нибудь перекусим.

Он сказал, что лично ему видится бифштекс, а на второе омлет. Джордж сказал, что свое мнение на этот счет он составит лишь тогда, когда увидит Тодтмоос.

Мы шли полчаса, а затем, очутившись на полянке, увидели под собой деревню, в которой побывали утром. В ней была старинная церковь с наружной лесенкой — довольно странное сооружение.

Вид ее поверг меня в уныние. Мы плутали уже три с половиной часа, а прошли каких-то четыре мили. Но Гаррис был в восторге.

— Ну наконец-то, — сказал Гаррис, — теперь мы знаем, где находимся.

— По-моему, ты сказал, что это неважно, — напомнил ему Джордж.

— Вообще-то неважно, — ответил Гаррис, — но на всякий случай знать не помешает. Теперь я чувствую себя увереннее.

— Мне это не кажется особым преимуществом, — пробормотал Джордж. Но, по-моему, Гаррис его не слышал.

— Сейчас мы, — продолжал Гаррис, — находимся к востоку от солнца, а Тодтмоос от нас на юго-западе. Так что если…

Внезапно он замолчал.

— Между прочим, — сказал он, — вы не помните, куда, я сказал, показывает биссектриса этого угла — на юг или на север?

— Ты сказал, на север, — ответил Джордж.

— Ты уверен? — не отставал Гаррис.

— Уверен, — ответил Джордж, — но не обращай внимания. Что бы ты ни сказал, ты перепутал.

Гаррис задумался; затем лицо его прояснилось.

— Все правильно, — сказал он, — конечно же, на север. Там должен быть север. С чего это я взял, что на юг? Нам надо на запад. Пошли.

— С радостью пойду на запад, — сказал Джордж, — мне все равно, куда идти. Я лишь хочу заметить, что в настоящий момент мы идем прямо на восток.

— Нет, — возразил Гаррис, — мы идем на запад.

— А я тебе говорю, что на восток, — упорствовал Джордж.

— Я попросил бы тебя помолчать, — обиделся Гаррис, — ты меня путаешь.

— Много бы я дал, чтобы тебя запутать, — проворчал Джордж. — Уж лучше тебя запутать, чем идти не в ту сторону. Я говорю тебе, мы идем прямо на восток.

— Ерунда! — воскликнул Гаррис. — Вот солнце!

— Солнце я хорошо вижу, — ответил Джордж. — Там ли оно, где ему положено быть по твоей науке, не там ли — судить не берусь. Одно лишь знаю: когда мы были в деревне, вот та гора с вот тем утесом отстояла от нас точно на север. В данный момент мы смотрим прямо на восток.

— Ты совершенно прав, — вдруг согласился с ним Гаррис. — Я чуть было не забыл, что мы развернулись.

— Я бы на твоем месте этого не забывал, — посоветовал ему Джордж. — Похоже, подобный маневр нам придется повторить не раз и не два.

Мы развернулись и пошли в другую сторону. Сорок пять минут мы карабкались в гору и снова очутились на полянке, и снова под нами лежала деревня. На этот раз с юга.

— Нечто невообразимое, — изумился Гаррис.

— Ничего удивительного в этом нет, — возразил Джордж. — Если упорно кружить вокруг деревни, то, естественно, из виду ее не потеряешь. Лично я рад, что вижу ее. Это свидетельствует о том, что мы еще не окончательно заблудились.

— Мы должны были выйти с другой стороны, — продолжал удивляться Гаррис.

— И часу не пройдет, как мы там будем, — пообещал Джордж, — если мы пойдем дальше.

Сам я помалкивал; я был сердит на них обоих; но я был рад, что Гаррис начинает явно бесить Джорджа. Со стороны Гарриса было полнейшим абсурдом воображать, что ему удастся найти путь по солнцу.

— Хотелось бы мне знать наверняка, — задумчиво произнес Гаррис, — куда показывает биссектриса: на юг или на север?

— Я бы на твоем месте постарался это уточнить, — заметил Джордж. — Момент весьма важный.

— На север она показывать не может, — сказал Гаррис, — и я объясню вам почему.

— Не стоит, — отказался Джордж. — Верю тебе на слово.

— А сам говорил, что на север, — укоризненно сказал Гаррис.

— Ничего подобного я не говорил, — возразил Джордж. Я сказал, что ты сказал, что на север, а это большая разница. Если тебе кажется, что это не так, — пошли в другую сторону. Во всяком случае, это внесет разнообразие.

Гаррис заново произвел вычисления, поменяв знак на противоположный, и мы опять углубились в лес; полчаса, изнемогая, карабкались в гору, и опять перед нами открылся вид на все ту же деревню. Сказать по правде, на этот раз мы оказались чуть выше, и лежала она между нами и солнцем.

— Мне кажется, — поделился своими наблюдениями Джордж, когда мы стояли, уставившись на деревню, — что отсюда она смотрится получше, чем с других точек, где мы были. Остался лишь один ракурс, в котором мы ее не рассматривали. После этого я предлагаю спуститься в деревню и отдохнуть.

— По-моему, это другая деревня, — высказал предположение Гаррис. — Не может быть, чтобы нам попадалась все одна и та же.

— Церковь ошибиться не даст, — поспешил разочаровать его Джордж. — Но, может быть, это случай, аналогичный пражской статуе? Не исключено, что местные власти сделали несколько макетов деревни в натуральную величину и расставили их в лесу, чтобы посмотреть, где они лучше смотрятся. Ну, куда идем на этот раз?

— Не знаю, — взорвался Гаррис, — и знать не хочу. Я сделал все, что в моих силах, а ты только и делал, что ныл и путал меня.

— Возможно, я настроен несколько критически, — согласился Джордж, — но попробуй меня понять. Один из вас говорит, что у него шестое чувство, и заводит меня в лесную чащу к осиному гнезду.

— Я не могу запретить осам строить гнезда в лесу, — парировал я.

— Не можешь — так не можешь, — ответил Джордж. — Я не спорю, я только констатирую непреложные факты. Другой, руководствуясь научными принципами, часами водит меня вверх-вниз по горам, а сам не может отличить север от юга и не всегда может сказать, менял он курс или нет. Лично у меня никаких таких шестых чувств нет, ученостью я тоже не блещу. Но вот там, за вторым полем, я вижу крестьянина. Я собираюсь компенсировать ему стоимость сена, которое он не скосит, отвлекшись на то, чтобы довести меня до пределов видимости Тодтмооса, что обойдется мне, как я думаю, в одну марку пятьдесят пфеннигов. Если вы, ребята, хотите пойти со мной — милости прошу. Не хотите — выбирайте любую систему и разрабатывайте ее сами.

В плане Джорджа не было ни оригинальности, ни дерзости, но в тот момент он нам приглянулся. К счастью, мы недалеко ушли от того места, откуда начали плутать; в результате с помощью джентльмена косы мы выбрались на нужную дорогу и пришли в Тодтмоос на четыре часа позже, чем рассчитывали, нагуляв аппетит, на утоление которого потребовалось сорок пять минут упорного труда.

Сначала мы планировали прогуляться от Тодтмооса до Рейна пешком, но, приняв во внимание чрезмерные утренние нагрузки, решили совершить, как говорят французы, променад в карете, для каковой цели и был нанят живописный экипаж, движимый лошадью, которую следовало бы назвать бочкоподобной, но лишь для того, чтобы подчеркнуть ее отличие от хозяина, кажущегося по сравнению с ней угловатым. В Германии любой экипаж предназначен для пары, но обычно впрягается лишь одна лошадь. На наш взгляд, это придает экипажу некую однобокость, но стиль этот выдерживается для шика. Идея в том, чтобы показать, что обычно у вас в упряжке пара лошадей, но в данный момент одна из них куда-то запропастилась. В немецком кучере нет этакого молодечества. Он в ударе, когда спит. Во всяком случае, тогда он безвреден, и, если лошадь умна и знает дорогу, что обычно и бывает, вы добираетесь до места без особых приключений. Если бы в Германии удалось научить лошадей взимать с седоков плату в конце поездки, то извозчик вообще был бы не нужен. Вот тогда пассажиры вздохнут спокойно, ибо немецкий извозчик, когда он не спит или не щелкает кнутом, занят почти исключительно тем, что создает трудности, а затем преодолевает их. Первое ему удается лучше. Как-то, помнится, мне довелось с двумя дамами спускаться в Шварцвальде с крутой горы. Дорога вилась серпантином. Один склон горы поднимался к вершине под утлом в семьдесят пять градусов, другой под углом семьдесят пять градусов обрывался вниз. Мы ехали тихо и спокойно — наш возница закрыл глаза, что мы и заметили к вящей радости, как вдруг что-то — дурной сон или несварение желудка — разбудило его. Он подхватил вожжи и ловким движением загнал пристяжную на бровку, откуда она сорвалась под обрыв и повисла, удерживаемая упряжью. Наш извозчик нимало не встревожился и даже не удивился; да и лошадям, как я заметил, ситуация не показалась новой. Мы вышли; он слез с козел. Из-под сиденья он вынул огромный складной нож, как видно, специально приберегаемый для подобных целей, и хладнокровно обрезал постромки. Лошадь, теперь ничем не удерживаемая, покатилась кубарем под обрыв и, пролетев ярдов пятьдесят, грохнулась о дорогу. Там она встала на ноги и стала нас поджидать. Мы снова забрались в экипаж и, влекомые одной лошадью, начали спуск и вскоре добрались до сорвавшейся в пропасть лошади. Здесь с помощью обрывков веревки наш извозчик перезапряг ее, и мы продолжили нашу прогулку. Больше всего меня потрясло то, что ни извозчику, ни лошадям к такому способу спуска с горы было явно не привыкать.

Очевидно, им казалось, что так спускаться короче и удобней. Я бы не удивился, предложи нам извозчик пристегнуться и всей компанией, вместе с экипажем и лошадьми, кубарем скатиться вниз.

Другой особенностью немецкого извозчика является то, что он никогда даже не пытается натянуть или отпустить вожжи. Он регулирует скорость движения не аллюром лошадей, а манипуляцией с тормозами. Если требуется скорость восемь миль в час, он прижмет ручку, так что колодки лишь слегка царапают колеса, производя характерный звук, какой бывает при точке пилы; если требуется четыре мили в час, он закрутит тормоз потуже, и вы едете под аккомпанемент стонов и визга, похожих на те, что издает свинья, когда ее режут. Когда ему надо остановиться, он жмет на всю катушку. Если у него хороший тормоз, то он может — если, конечно, его лошадь не элитный тяжеловоз — рассчитать остановку с точностью до дюйма. По-видимому, ни немецкий извозчик, ни немецкая лошадь не знакомы с другими способами остановки. Немецкая лошадь продолжает изо всех сил тащить экипаж, пока она не убеждается, что ей не удается сдвинуть его ни на дюйм; тогда она замирает. Во всех других странах лошади останавливаются, стоит им только предложить. Я даже знавал лошадей, которых можно было уговорить поубавить ход. Но немецкая лошадь создана, должно быть, для перемещения с одной и той же скоростью, и ничего с этим поделать нельзя. Вот вам голый, неприукрашенный факт: я сам видел, как немецкий извозчик, бросив поводья, изо всех сил двумя руками закручивал тормоз, в панике пытаясь предотвратить грозящее столкновение.

В Вальдсхуте, маленьком немецком городке в верховьях Рейна, основанном в шестнадцатом веке, нам попался типаж, весьма характерный для Европы: английский турист, горько сетовавший на то, что, к его удивлению, эти иностранцы не понимают всех тонкостей английского языка. Когда мы пришли на вокзал, он на очень хорошем английском, правда с легким сомерсетширским акцентом, втолковывал носильщику — в десятый раз, как он сообщил нам, — что, хотя у него билет до Донауесхингена и ему надо в Донауесхинген, чтобы посмотреть исток Дуная, который на самом деле находится не там, хотя ему и говорили, что там, он хочет, чтобы его велосипед переслали в Энген, а чемодан — в Констанцу, до востребования. Неудача сильно раздосадовала его, он горячился и злился. Носильщик, человек еще молодой, казался несчастным стариком. Я предложил свои услуги. Теперь-то я об этом сожалею, хотя и не так горько, как должен был впоследствии сожалеть тот не знавший ни слова по-немецки тип, опрометчиво согласившийся мои услуги принять. Все три маршрута, объяснил нам носильщик, были транзитными, со множеством пересадок. Спокойно вникнуть в тонкости дела времени не было — наш поезд отходил через несколько минут. Сам англичанин был многословен, что всегда неверно, если хочешь, чтобы тебя поняли; носильщик же хотел лишь одного — чтобы от него поскорее отвязались и дали вздохнуть спокойно. Озарение нашло на меня лишь через десять минут, когда, сидя в поезде, я размышлял о случившемся; хотя я и согласился с носильщиком, что велосипед лучше всего отправить через Иммендинген и нужно оформить его багажом до Иммендингена, я не позаботился о том, чтобы из Иммендингена его переправили дальше. Будь я меланхоликом, меня бы ни на минуту не покидала мысль, что он и по сю пору находится в Иммендингене. Но плох тот философ, который видит лишь темную сторону вещей. Возможно, носильщик сам исправил мой промах, а может, случилось просто чудо, и велосипед сам собой вернулся к владельцу еще до окончания его путешествия. Чемодан поехал в Радольфцвелль; но я тешу себя мыслью, что на этикетке была указана Констанца; и несомненно, что рано или поздно железнодорожные власти Радольфцвелля, обнаружив невостребованный багаж, переправят его в Констанцу.

Но это все помимо той морали, которую я хочу вывести из этой истории. На самом деле суть заключается в том, что британец вознегодовал, обнаружив, что немецкий носильщик не понимает английского. Когда мы с ним заговорили, возмущение его не знало границ.

— Большое вам спасибо, — сказал он, — все очень просто. До Донауесхингена я хочу добраться поездом; из Донауесхингена я хочу дойти пешком до Гайзенгена; а в Гайзенгене я собираюсь сесть на поезд до Энгена, а из Энгена на велосипеде — в Констанцу. Я уже десять минут пытаюсь втолковать этому болвану, да разве ему что вдолбишь!

— Действительно, позор, — согласился я. — Есть еще отдельные немцы из низших слоев общества, которые так и не выучили никакого языка, кроме родного.

— Я уж и в расписание его тыкал, — продолжал человек, — и целую пантомиму разыграл. Все как об стенку горох.

— Трудно вам поверить, — снова поддакнул я. — Что может быть проще?

Гаррис на него рассердился; он хотел выбранить его за то, что тот, не зная ни слова на языке чужой страны, легкомысленно забирается в самые удаленные уголки и задает железнодорожникам головоломные задачи. Но я умерил его пыл и указал на ту большую и важную работу, которую делает этот человек, сам того не подозревая.

Шекспир и Мильтон в меру своих слабых сил пытались познакомить с английским языком других, менее везучих обитателей Европы. Ньютон и Дарвин смогли сделать так, что их язык стал необходим образованным и думающим иностранцам. Диккенс и Уида[20] (ибо вы, воображающие, что читающий мир находится в плену предрассудков Нью-Граб-стрит, будете удивлены и огорчены, когда узнаете, какое место отводят за границей этой даме, над которой у нас потешаются) смогли немало поспособствовать его дальнейшей популяризации. Но человек, который насаждает английский от мыса Св. Винсента до Уральских гор, — это

англичанин, который не может или не хочет выучить ни одного иностранного слова и путешествует с толстым кошельком в кармане по самым отдаленным уголкам континента. Его невежество может шокировать, глупость — раздражать, самонадеянность — бесить. Но факт остается фактом — он англизирует Европу. Это для него швейцарский крестьянин зимними вечерами, пробираясь сквозь глубокий снег, спешит на курсы английского, которые открылись в каждой деревне. Это для него склонились над английской грамматикой и разговорником извозчик и сторож, горничная и прачка. Это для него иностранные лавочники и купцы тысячами отправляют своих сынов и дочерей учиться в заштатный английский городишко. Это для него владельцы отелей и ресторанов пишут в конце своих объявлений: «Принимаются лишь лица, в совершенстве владеющие английским».

Если англоязычные народы вдруг возьмут себе за правило говорить не только по-английски, триумфальное шествие английского по планете прекратится. Англичанин стоит в толпе иноземцев и звенит своим золотом:

— А вот, — кричит он, — денежки для того, кто говорит по-английски!

Вот кто он, великий просветитель. В теории мы можем презирать его. На практике же нам следует снять перед ним шляпу. Он миссионер английского языка.

Глава XII

Нас удручает грубый материализм немцев. — Вид прекрасен, но где же трактир? — Что европеец думает об англичанине. — Это редкая бестолочь, вот и мокнет себе под дождем. — Появляется усталый путник с кирпичом. — Охота на собаку. — Где не стоит селиться семейному человеку. — Плодородный край. — Веселый старикан лезет в гору. — Поспешная ретирада Джорджа. — Гаррис устремляется за ним, чтобы указать дорогу. — Будучи человеком компанейским, я следую за Гаррисом. — Фонетический курс для иностранцев

Возвышенную душу англосакса очень раздражает приземленность немца, который считает, что конечной целью любой прогулки является посещение трактира. На горной вершине, в волшебной долине, в тесном ущелье, под струями водопада, на берегу бурлящего потока всегда открыт какой-нибудь «Wirtschaft».[21]

Как можно любоваться красотами природы, когда тебя окружают уставленные пивом столики? Как можно проникнуться духом древности, когда тебя донимают ароматы жареной телятины и шпината?

Как-то раз, продираясь сквозь чащобу, мы карабкались на гору, где намеревались предаться возвышенным мыслям.

— А на вершине, — печально вздохнул Гаррис, когда мы остановились, чтобы отдышаться и затянуть пояса еще на одну дырочку, — нас будет ждать аляповатое строение, именуемое трактиром, где пожирают бифштексы, лопают сливовые торты и лакают белое вино.

— Ты так думаешь? — спросил Джордж.

— Иначе и быть не может, — ответил Гаррис. — Так уж у них заведено. Не осталось ни одной тропинки, ни одной горной вершины, где можно было бы уединиться и предаться созерцанию, где чистый душой и не испорченный грубым материализмом путник мог бы полюбоваться природой.

— Я так прикинул, — встрял я, — что если не будем валять дурака, то поспеем туда еще до часу.

— Как раз к обеду, — вожделенно простонал Гаррис. — Готов поспорить, будут подавать голубую форель, здесь она водится. В Германии, как я понял, от еды и выпивки никуда не денешься. С ума сойти!

Мы пошагали дальше, и окружающие нас красоты слегка поостудили праведный гнев. В своих расчетах я не ошибся.

Без четверти час Гаррис, который шел впереди, воскликнул:

— Все, пришли! Я вижу вершину.

— Трактир есть? — поинтересовался Джордж.

— Что-то не видно, — ответил Гаррис. — Но, будьте уверены, он где-то здесь, черт бы его побрал!

Через пять минут мы были уже на вершине. Мы посмотрели на север, посмотрели и на юг; посмотрели на восток, посмотрели и на запад. Затем мы посмотрели друг на друга.

— Что за вид! — воскликнул Гаррис.

— Великолепно! — согласился я.

— Восхитительно! — поддержал Джордж.

— Слава Богу, — сказал Гаррис, — хватило у них ума убрать трактир с глаз подальше.

— Похоже, они его замаскировали, — высказал предположение Джордж.

— Собственно говоря, чем плох трактир, когда он не мозолит глаза? — пробурчал Гаррис.

— Всякая вещь, — заметил я, — хороша на своем месте, и трактир — не исключение.

— Хотел бы я знать, куда они его упрятали, — заволновался Джордж.

— Может, поищем? — с воодушевлением предложил Гаррис.

Мысль мне понравилась. Я и сам сгорал от любопытства. Мы договорились разойтись в разные стороны, а затем встретиться на вершине и доложить результаты изысканий. Сбор состоялся через полчаса. Мы молчали, но и без слов было ясно: наконец-то нам удалось отыскать уединенный уголок, где никто не собирается досаждать тебе предложениями выпить и закусить.

— Глазам своим не верю, — изумился Гаррис. — А вы?

— Должен сказать, — ответил я, — что это единственный во всем «Фатерланде» клочок земли, где добропорядочные немцы не успели открыть трактир.

— И трех чужестранцев угораздило забрести именно туда, — с горечью констатировал Джордж.

— Что поделаешь, — сказал я. — Нам страшно повезло: сколько пищи найдет здесь для себя возвышенный ум, не отвлекаемый на удовлетворение низменных природных инстинктов. Вы только посмотрите, что за свет струится там, вдали, над вершинами — разве это не восхитительно?

— Кстати о природе, — буркнул Джордж. — Как бы нам побыстрее спуститься?

Я справился в путеводителе и ответил:

— Дорога направо приведет нас в Зонненштайг, где, между прочим, есть неплохой трактир «Золотой орел», мне о нем рассказывали. Дорога налево немного длиннее, зато более живописна, да и обзор с нее будет получше.

— Обзор, обзор, — проворчал Гаррис. — Было бы что обозревать! На мой взгляд, везде одно и то же. А вам так не кажется?

— Лично я, — решительно заявил Джордж, — пошел направо.

И мы с Гаррисом зашагали за ним.

Но не тут-то было: спуститься так быстро, как рассчитывали, нам не удалось. Гроза здесь надвигается быстро, и не прошли мы и четверти мили, как столкнулись с дилеммой: или сейчас найти место, где можно укрыться от дождя, или потом искать дом, куда бы нас пустили обсушиться. Мы выбрали первое и присмотрели дерево, крона которого при обычных обстоятельствах послужила бы нам надежной крышей. Но гроза в Шварцвальде — обстоятельство, далеко не обычное. Поначалу мы тешили себя баснями, что такие сильные дожди, дескать, быстро проходят; затем явилась согревающая душу мысль, что даже если ливень и не прекратится, то вскоре мы промокнем так, что дальше некуда, и сможем смело продолжить путь.

— Раз уж все так обернулось, — размечтался Гаррис, — то неплохо было бы, если бы поблизости оказался какой-нибудь захудалый трактир!

— По мне, уж либо мокнуть, либо голодать, — сказал Джордж. — Дождь на пустой желудок — это уж слишком. Жду пять минут и иду.

— Эти уединенные уголки в горах, — заметил я, — хороши в ясную погоду. В дождь же, особенно когда ты уже немолод…

Тут мы услышали, как нас окликнул какой-то почтенный господин, стоящий под большим зонтом футах в пятидесяти от нас.

— Что же вы не заходите? — крикнул он нам.

— Куда? — огрызнулся я. Я было подумал, что он из тех болванов, что вечно пытаются острить, когда надо бы плакать.

— В трактир, — ответил он.

Мы покинули наше укрытие и устремились к нему. Нам захотелось разузнать о трактире поподробней.

— Я же кричал вам из окна, — недоумевал почтенный господин, когда мы добежали до него, — да вы, видать, не слышали. Эта гроза на час, не меньше, вы все промокнете.

Какой это был добрый старик, как он о нас заботился! Я пустился в объяснения:

— Очень любезно с вашей стороны было выйти к нам. Только не подумайте, что мы сбежали из сумасшедшего дома. Мы не стали бы прятаться от дождя под деревом, если бы знали, что в двадцати ярдах от нас в чаще деревьев спрятан трактир.

— Я так и подумал, — сказал старик, — потому и вышел.

Оказалось, что и посетители трактира все полчаса, что мы мокли, с любопытством смотрели на нас из окна, обсуждая между собой возможные причины столь странного поведения. Если бы не этот симпатичный старичок, то эти болваны глазели бы на нас до самого вечера. Хозяин перед нами извинился, объяснив, что мы показались ему «ну, вылитыми англичанами». Это отнюдь не образное сравнение, относимое местными жителями к людям с отклонениями в психике и поведении. Слова эти следует понимать буквально. На континенте искренне верят, что все англичане — малость не в себе. В этом их разубедить невозможно, как невозможно поколебать веру английского фермера в то, что французы питаются

исключительно лягушками. Даже когда пытаешься личным примером доказать, что англичане — люди нормальные, это не всегда удается.

В трактирчике было тепло, уютно, готовили там хорошо, а Tischwein[22] было великолепно. Мы просидели там два часа, наелись, обсохли, поговорили о красотах природы и даже собрались уходить, как вдруг на наших глазах начали разворачиваться события, должные показать, насколько в этом мире зло сильнее добра.

В трактир вошел путник. Вид у него был измученный, в руке он сжимал веревку, к которой был привязан кирпич. Вошел он торопливо, опасливо озираясь, тщательно закрыл за собой дверь, проверил, плотно ли она захлопнулась, долго и напряженно смотрел в окно и лишь после этого, с облегчением вздохнув, положил кирпич рядом с собой и заказал обед.

Было в его поведении что-то интригующее. Хотелось разузнать, зачем ему кирпич, почему он так тщательно закрывал дверь, почему смотрел из окна с такой тревогой, но он сидел с таким скорбным видом, что донимать его вопросами казалось бестактным. Но чем больше он ел и пил, тем веселее становился. Вздыхал он теперь не так часто. Наконец, покончив с обедом, он вытянул ноги, закурил сигару и запыхтел, наслаждаясь покоем.

Тут-то все и началось. События разворачивались столь стремительно, что мне не удалось восстановить их ход во всех подробностях. Помню, что из кухни в зал вошла служанка, в руке она несла сковороду. Я видел, как она прошла к входной двери. Затем все полетело вверх тормашками. Это походило на балаган, где сцены менялись так быстро, что ничего не успеваешь понять: звучит тихая музыка, кругом цветы, над ними парят облака и воздушные феи — как вдруг невесть откуда вваливается орущий полицейский, спотыкаясь о пищащего младенца, выбегает Арлекин, падая на ровном месте, кривляются клоуны, а Панталоне с воплями лупят друг друга колбасой. Стоило служанке лишь дотронуться до дверной ручки, как дверь тут же распахнулась настежь, словно под ней собрались все силы ада, только и ждавшие этого момента. В комнату ворвались две свиньи и курица; кот, дремавший на пивной бочке, яростно зашипел. Служанка от неожиданности уронила сковороду и рухнула на пол. Господин с кирпичом вскочил, опрокинув стол со всей стоящей на нем посудой.

Кинулись искать виновника несчастья и тут же нашли его. Злодей предстал в образе терьера с ушами сеттера и хвостом колли. Из своей комнаты выбежал хозяин, намереваясь пинком выкинуть его за дверь. Но ничего у него не вышло: вместо собаки он угодил в свинью, ту, что была пожирней. Это был мастерский, великолепно поставленный пинок; свинья получила сполна: концентрация энергии была поразительна. Было жаль ни в чем не повинное животное; но наша жалость не шла ни в какое сравнение с той жалостью к себе, что охватила несчастную скотину. Она перестала метаться и рухнула посредине зала, призывая весь христианский мир подивиться на несправедливость, учиненную над ней злыми людьми. Ее причитания были столь выразительны, что слышно их было во всех долинах окрест, и люди ломали голову, тщетно пытаясь понять, что за катаклизм разразился в горах.

А курица с воплями носилась по залу. Эта птица обладала волшебным даром бегать по стене; за ней носился кот, и все, что ни попадалось ему на пути, летело на пол.

Не прошло и сорока секунд, как по комнате металось девять человек, стремящихся пнуть собаку. Время от времени удача улыбалась то одному, то другому — собака иногда переставала лаять и начинала жалобно скулить. Но это ее нимало не обескураживало. Она, по-видимому, считала, что даром ничего не дается, в том числе и охота на свиней, и, в общем, игра стоит свеч. Кроме того, она со злорадством отметила, что на каждый пинок, перепадающий на ее долю, приходится два пинка, которые достаются другим живым существам, бегающим по залу. Бедолаге же свинье, которая так и сидела в самом центре свистопляски, горько сетуя на свою судьбу, в среднем приходилось по четыре. Попытки пнуть собаку походили на игру в футбол с исчезающим мячом — не тогда, когда целишься, а когда уже занес ногу и уже не можешь удержаться, уповая лишь на то, что под ногу подвернется что-нибудь твердое, способное

принять удар на себя, и ты не полетишь на пол с грохотом и треском. Если кто и попадал по собаке, то совершенно случайно, когда пинать ее, собственно говоря, и не собирался и, не будучи готовым к соприкосновению со зловредной тварью, как правило, терял равновесие и падал. И через каждые полминуты кто-нибудь спотыкался о свинью — ту, что лежала на полу и была не в силах убраться с дороги.

Сколько бы еще продолжалась эта свистопляска — сказать не берусь. Суматоха прекратилась благодаря мудрому поведению Джорджа. Некоторое время он гонялся — нет, не за собакой, а за второй свиньей, той, что еще могла бегать. Наконец ему удалось загнать ее в угол и разорвать порочный круг, прекратив суматошное кружение по залу. Он дал ей хорошего пинка и вышиб за дверь.

Подавай нам обязательно то, чего у нас нет. Свинья, курица, девять людей, кот — что они для собаки по сравнению с ускользнувшей жертвой? Не подумав, она ринулась в погоню, а Джордж захлопнул дверь и для верности запер ее на щеколду.

С пола поднялся хозяин. В трактире царил разгром.

— Игривый у вас песик, — сказал он человеку с кирпичом.

— Это не моя собака, — угрюмо отозвался тот.

— А чья же? — спросил хозяин.

— Не знаю.

— Дешево вы не отделаетесь, — сказал хозяин, поднимая с пола портрет кайзера и протирая его рукавом.

— Знаю, что не отделаюсь, — ответил человек, — я и не рассчитывал дешево отделаться. Мне уже надоело говорить всем, что это не моя собака. Все равно никто не верит.

— Зачем же вы ходите с ней, если это не ваша собака? — удивился хозяин. — Что в ней такого нашли?

— А я с ней и не хожу, — ответил человек. — Это она ходит со мной. Она пристала ко мне в десять утра и с тех пор не отстает. Когда я вошел сюда, мне показалось, что наконец-то удалось от нее отвязаться. За четверть часа до этого я оставил ее поохотиться на гусей. Боюсь, на обратном пути придется за них рассчитываться.

— А вы камнями в нее не бросали? — спросил Гаррис.

— Не бросал ли я в нее камнями? — презрительно переспросил человек. — Еще как, даже рука заболела. Да все без толку — она подумала, что я с ней играю, и приносила камни назад. Вот уж битый час я ношусь с этим дурацким кирпичом. Видите ли, я хочу утопить ее. Так ведь нет, ничего не выходит! Близко она меня не подпускает, и схватить ее не удается. Сядет, распустит слюни и смотрит на меня. Еще шесть дюймов — и она моя. Нет, не дается, хоть тресни!

— Забавная история, ничего не скажешь, — сказал хозяин. — Давненько не слышал ничего подобного.

— Рад, что хоть кого-то она веселит, — кротко сказал человек.

Он стал помогать хозяину собирать осколки, а мы пошли своей дорогой. В дюжине ярдов от входа в трактир верное животное поджидало своего друга. Собака выглядела усталой, но довольной. Было сразу видно, что это суматошное и взбалмошное создание, и мы испугались: а ну как мы ей понравимся? Но она не обратила на нас ни малейшего внимания. Ее преданность своему новому безропотному другу была трогательна, и мы не стали искушать ее.

Покончив к вящему удовольствию со Шварцвальдом, мы отправились на велосипедах в Мюнстер, через Альт-Брайзах и Кольмар; отсюда мы предприняли небольшой набег на Вогезские горы. Альт-Брайзах, каменную крепость, которую река огибает то с одной, то с другой стороны — юный ветреный Рейн отличается завидным непостоянством, — с древнейших времен населяли любители перемен и искатели острых ощущений. Кто бы ни воевал, каков бы

ни был повод для войны, Альт-Брайзах всегда оказывался на переднем крае. Его осаждали все кому не лень; как правило, его брали; в большинстве случаев его сдавали обратно; но никому не удавалось удержать его надолго. Кому принадлежит город, чей он подданный, — на этот вопрос житель Альт-Брайзаха никогда не мог ответить с уверенностью. В один прекрасный день он просыпался французом, но не успевал выучить и нескольких французских фраз, необходимых для общения со сборщиками податей, как становился австрийцем. Пока он наводил справки, как себя надо вести, чтобы прослыть добрым австрийцем, выяснялось, что он уже не австриец, а немец, хотя какой из немцев — ведь немцы бывают всякие, их около дюжины, — никто не мог сказать наверняка. В один прекрасный день горожанам объявляли, что они возвращаются в лоно католической церкви, но на следующее утро все просыпались уже ревностными протестантами. Единственное, что было более или менее постоянно в жизни горожанина Альт-Брайзаха, — одинаковая во всех государствах обязанность платить круглую сумму за право слыть подданным того государя, в казну которого в настоящий момент идут его денежки. Но стоит над этим задуматься, как начинаешь удивляться, почему в средние века человек, не являясь ни королем, ни сборщиком податей, утруждал себя таким хлопотливым и утомительным занятием, каким является жизнь.

По разнообразию и красоте Вогез не идет в сравнение с горами Шварцвальда. С точки зрения туриста, главное достоинство этого края — удивительная нищета его жителей. Нет в тамошнем крестьянине той прозаической сытости и довольства, что портит его соседа с другого берега Рейна. В деревнях и на хуторах чувствуешь всю прелесть первобытного уклада жизни. Также славен Вогез и своими руинами. Замков там видимо-невидимо, и многие лепятся в таких местах, где, казалось бы, лишь горные орлы могут вить свои гнезда. Есть крепости, заложенные еще римлянами и законченные уже в эпоху трубадуров; они занимают площадь во много акров, а по хитросплетениям их еще крепких стен можно бродить часами.

Торговля овощами и фруктами — занятие в Вогезе неизвестное. Такой товар произрастает в диком виде, остается лишь сорвать его. Когда странствуешь по Вогезу, время лучше не планировать: настолько силен в жаркий день соблазн остановиться и поесть фруктов, что противиться ему невозможно. Малина, вкусней которой я не пробовал, клубника, смородина, крыжовник растут прямо по склонам, как у нас по закоулкам растет ежевика. Вогезскому мальчишке нет нужды лазать по чужим садам — объедаться фруктами можно, и не нарушая заповедей Господних. Весь Вогез утопает в садах, но лезть в них воровать фрукты так же глупо, как рыбе пытаться проникнуть в плавательный бассейн без билета. Но все же и на старуху бывает проруха.

Однажды, взбираясь на гору, мы очутились на террасе. Задержались мы там дольше, чем следовало бы, да и ягод съели чуть больше, чем надо. Кончилось это печально. Мы начали с клубники поздних сортов, а от нее перебрались к малине. Затем Гаррису попалось сливовое дерево, на котором были вполне спелые плоды.

— Это вам не какая-нибудь там алыча, — сказал Гаррис. — Настоящий жердель.[23] Налетай, ребята! Грех упускать такую возможность.

На первый взгляд, возразить было нечего.

— Жаль, — вздохнул Джордж, — что груши еще не поспели.

Он еще некоторое время сетовал на превратности природного цикла, но тут нам попались такие великолепные сливы, что он немного утешился.

— Ягод здесь хватает, а вот фруктовых деревьев маловато, — привередничал Гаррис. — Лично я съел бы еще слив.

— А вот идет к нам какой-то человек, — заметил я. — Он, должно быть, местный. Может, он нам подскажет, где здесь еще растут сливы.

— Он неплохо двигается для своих лет, — заметил Гаррис.

Старик карабкался в гору с поразительной скоростью. Кроме того, когда он к нам приблизился, мы заметили, что он пребывает в крайне приподнятом настроении: он пел и орал во всю мочь, жестикулировал и размахивал руками.

— Славный старикан, — восхитился Гаррис. — Смотреть на него одно удовольствие. Но зачем он держит палку на плече? Почему не помогает себе, когда лезет в гору?

— А вы знаете, — насторожился Джордж, — по-моему, это не палка.

— А что же тогда? — спросил Гаррис.

— Уж больно она смахивает на ружье, — ответил Джордж.

— А вам не кажется, что мы могли ошибиться? — предположил Гаррис. — Вам не кажется, что это может быть чем-то вроде частного сада?

Я сказал:

— А вы не помните трагический случай, произошедший на юге Франции года два назад? Солдат, проходя мимо дома, сорвал пару вишен, а французский крестьянин, кому эти вишни принадлежали, вышел на улицу и без лишних слов уложил его на месте.

— Но, наверное, даже во Франции запрещено стрелять в человека лишь за то, что он рвет чужие фрукты? — возмутился Джордж.

— Конечно, запрещено, — успокоил я его. — Убийцу отдали под суд. В его защиту адвокат мог сказать лишь то, что он находился в состоянии крайнего возбуждения и особо дорожил именно этим сортом вишен.

— Что-то припоминаю, — сказал Гаррис, — да-да. Помнится, общине — «коммуне», так она у них, кажется, называется, — пришлось выплатить семье погибшего солидную компенсацию, и на том спасибо.

— Что-то мне здесь надоело. Да и поздно уже, — сказал Джордж.

— Если Джордж и дальше будет бежать с такой скоростью, то упадет и разобьется. Да и дороги он не знает, — забеспокоился Гаррис.

Я остался один-одинешенек, и не с кем было словом перемолвиться. К тому же, подумалось мне, с детских лет я не испытывал радости стремительного бега с крутой горы. Я подумал, что стоит тряхнуть стариной, вспомнить забытое ощущение. Трясет тебя основательно, зато полезно для печени…

Мы заночевали в Барре, симпатичном местечке по дороге в Санкт-Оттилиенберг — достойный внимания древний монастырь в горах, где прислуживают вам монашки, а счет выписывает настоятельница. В Барре, как только мы сели ужинать, в дверях трактира появился турист. Он был похож на англичанина, но говорил на языке, которого я отроду не слышал. Но был тот язык красив и благозвучен. Хозяин недоуменно смотрел на пришельца; хозяйка качала головой. Он вздохнул и начал все сначала, и на этот раз его речь вызвала у меня смутные воспоминания, хотя что она напоминала — я уловить не мог. Хотя и на этот раз его никто не понял.

— Черт побери! — громко сказал он сам себе.

— А, так вы англичанин! — просияв, воскликнул хозяин.

— И месье устал, — подхватила смышленая хозяюшка, — месье хочет поужинать.

Они превосходно говорили по-английски, ничуть не хуже, чем по-немецки или по-французски; они засуетились и усадили его. За ужином он сидел рядом со мной, и мы разговорились.

— Скажите, пожалуйста, — любопытство распирало меня, — на каком языке вы говорили, когда вошли?

— На немецком, — разъяснил он.

— А, — ответил я. — Тогда простите.

— Вы ничего не поняли? — продолжал он.

— Тут уж моя вина, — сказал я, — знаю я его неважно. Так, ходишь по стране — одно уловишь здесь, другое — там, но это, конечно, совсем не то, что требуется.

— Но и они меня не понимают, — ответил он, — хозяин и его жена. А ведь это их родной язык.

— По-моему, нет, — сказал я. — Дети здесь говорят по-немецки, это верно, но наши хозяева знают этот язык неважно. Ведь старики в Эльзас-Лотарингии до сих пор говорят по-французски.

— Я и по-французски с ними заговаривал, — добавил он. — Они и французского не понимают.

— Очень странно, — согласился я.

— Более чем странно, — ответил он. — В данном случае это просто непонятно. Я окончил отделение современных языков. За успехи в немецком и французском мне платили стипендию. В колледже все признавали, что у меня безупречно правильная речь и безукоризненное произношение. И все же, стоит мне выехать за границу, как меня перестают понимать. Вы можете это объяснить?

— По-моему, могу, — ответил я. — Ваше произношение слишком безукоризненно. Помните, что сказал один шотландец, впервые в жизни отведав настоящего виски? «Может, оно и чистое, но пить я его не могу». Та же история и с вашим немецким. Это не язык, а образчик товара, так все его и принимают. Вот вам мой совет: произносите слова как можно неправильнее и делайте все ошибки, до которых только додумаетесь.

И так во всем мире. В каждой стране разработан особый фонетический курс специально для иностранцев; им ставят произношение, о котором сами носители языка и не мечтают, — иначе кто же их поймет? Мне довелось слышать, как одна наша дама учила француза произносить слово «have».

— Вы произносите его, — мягко выговаривала ему дама, — как если бы оно писалось «h-a-v». А это не так. На конце пишется «e».

— Но я думал, — сказал ученик, — что «e» в слове «h-a-v-e» не читается.

— Больше так не думайте, — объяснила учительница. — Это так называемое немое «e», оно не читается, но влияет на произношение предшествующего гласного.

До этого «have» звучало в его произношении вполне членораздельно. После же, дойдя в предложении до слова «have», он замолкал, собирался с мыслями и выдавал такую несуразицу, что лишь по смыслу можно было догадаться, что за слово он хотел сказать.

Разве что мученики раннего христианства прошли через те страдания, которые довелось претерпеть мне, осваивая правильное произношение немецкого слова «Kirche» — церковь. Еще задолго до того, как мне удалось разделаться с этим словом, я решил, что лучше уж не ходить в Германии в церковь, чем так ломать язык.

— Нет-нет, — объяснял мне мой учитель — он оказался на удивление терпеливым джентльменом, — вы произносите это слово так, будто оно пишется «Kirchke». Там нет никакого «к».

— Нужно говорить… — И он снова, уже в двадцатый раз за утро, показывал мне, как нужно правильно говорить; он произносил этот звук так, что ни за что на свете я не мог уловить разницу между тем, как говорит он, и тем, как говорю я. Поэтому он избрал другой метод.

— У вас звук идет из горла, — объяснил он. И был прав. Оттуда-то он и шел. — А надо, чтобы он шел вот отсюда.

И грязным пальцем указал мне место, где должен зарождаться звук. Мучительные попытки приводили к тому, что из меня вылетали звуки, означавшие что угодно, только не дом молитвы; в конце концов я сдался.

— Боюсь, что ничего у меня не выйдет, — сказал я. — Видите ли, я всю свою жизнь говорил ртом и мне не попадались люди, говорящие желудком. Должно быть, я слишком стар, чтобы переучиваться.

Часами я практиковался по темным углам и тихим улочкам, пугая случайных прохожих, и наконец научился произносить правильно. Учитель был в восторге, да и сам я был доволен собой, пока не попал в Германию. В Германии оказалось, что никто не понимает, что я хочу сказать. Ни разу мой язык не доводил меня до церкви. Пришлось забыть правильное произношение и, затратив немалые усилия, вернуться к неправильному. Первоначальный вариант был всем понятен, лица прохожих просветлялись, и мне объясняли, что церковь — за углом или на следующей улице, в зависимости от обстоятельств.

Мне кажется, что обучать произношению можно куда эффективнее, если не требовать от ученика этих внутренних кульбитов, каковые проделать практически невозможно, да и ни к чему. Вот какие задания дают ему:

— Прижмите миндалевидную железу к нижней стенке гортани. Выгните диафрагму так, чтобы она верхней частью почти касалась язычка, и попытайтесь кончиком языка достать до щитовидной железы. Вдохните и сомкните голосовую щель. А теперь, не размыкая губ, скажите «гару».

А когда вы это сделаете, учитель все равно останется недовольным.

Глава XIII

Опыт исследования характера и образа жизни немецкого студента. — Дуэль по-немецки. Кому от этого вред, а кому — польза. — Взгляд импрессиониста. — Комическая сторона. — Как воспитать дикаря. — Какие лица нравятся немецким девушкам. — Как «тереть саламандру». Совет иностранцу. — История, которая могла бы плохо кончиться. — О двух мужьях и двух женах. — И об одном холостяке

По пути домой мы завернули в немецкий университетский город — нам хотелось поближе познакомиться с образом жизни немецкого студента; благодаря любезности наших немецких друзей, мы смогли удовлетворить свое любопытство.

В Англии мальчик играет до пятнадцати лет; с пятнадцати до двадцати он трудится. В Германии труд — удел ребенка; юноша же резвится. В Германии занятия в школе начинаются летом в семь, зимой в восемь; в школе приходится учиться. В итоге к шестнадцати годам мальчик получает весьма основательные знания из области гуманитарных и естественных наук, а его осведомленности в истории может позавидовать иной политический деятель; кроме того, он прочно усвоил основы современных языков. Так что дальше учиться ему некуда, и восемь академических семестров — более четырех лет — излишняя роскошь; исключение составляют лишь юноши, метящие в профессуру. Немецкий студент не занимается спортом, а жаль, из него вышел бы отличный спортсмен. Он неважно играет в футбол, еще хуже ездит на велосипеде; лучше всего у него получается играть на бильярде в душных кафе. Но главным

образом он занят тем — по крайней мере, так поступает большинство студентов, — что слоняется по городу, пьет пиво и дерется на дуэли. Если он сын состоятельных родителей, то вступает в корпорацию — членство в престижной корпорации обходится более чем в четыреста фунтов в год. Выходцы из средних слоев вступают в братства или землячества, что еще дешевле. Эти сообщества подразделяются на более мелкие кружки, образованные по национальному признаку.

Есть швабы — из Швабии, есть франконцы — потомки древних франков, тюрингцы и так далее. На практике это, конечно же, приводит к тому, к чему приводят все попытки подобного рода, — я уверен, что половина членов Шотландского общества — лондонские кокни, — но в результате университет принимает весьма живописный вид: весь университет делится на дюжину с лишним объединений, члены которых носят фуражку с околышем определенного цвета и, что не менее важно, посещают определенную пивную, куда студенты, собирающиеся под другим знаменем, не допускаются.

Основная цель этих студенческих объединений — проводить поединки между своими членами или с членами соперничающей корпорации или землячества — знаменитая немецкая дуэль.

О немецкой дуэли написано много и достаточно подробно, так что я не стану утомлять читателя, вдаваясь во все подробности. Я просто попытаюсь, подобно импрессионисту, передать свое впечатление от первой виденной мной дуэли, так как считаю, что первое впечатление — самое верное; на него можно полагаться в большей степени, чем на мнение, составленное по прошествии времени или под влиянием других.

Француз или испанец постарается убедить вас, что бой быков придуман исключительно для пользы самого быка. Лошадь, которая, как вам кажется, ржет от боли, на самом деле смеется над потешным видом своих внутренностей. Ваш французский или испанский друг сравнит ее красивую героическую смерть на арене с бесславным концом под ножом живодера. Если вы намерены слушать этих энтузиастов, развесив уши, то вернетесь в Англию с твердым намерением развернуть пропаганду за внедрение боя быков как средства пробуждения духа рыцарства. Нет сомнений, что Торквемада был убежден в гуманности инквизиции. Тучному джентльмену, страдающему, к примеру, радикулитом или ревматизмом, часок-другой, проведенный на дыбе, пойдет только на пользу. Суставы его растянутся, станут, так сказать, «более гибкими», чего он безуспешно добивался годами. Английский охотник полагает, что лисе должны завидовать все звери. На целый день ей хватает бесплатных развлечений, целый день она в центре внимания.

Завесьте шторами все то, что не хотите видеть. Каждый третий немец, встреченный вами на улице, носит и будет носить до самой смерти память о тех двадцати или ста дуэлях, на которых он дрался в студенческие годы. Немецкие дети играют в дуэль в детском саду, репетируют ее в гимназиях. Немцы убедили себя, что нет здесь ничего жестокого, ничего оскорбительного, ничего унизительного. Их довод: это служит немецкой молодежи хорошей школой выдержки и мужества. Что ж, можно было бы согласиться с таким доводом, особенно принимая во внимание, что в Германии каждый мужчина — солдат. Но это одна сторона медали. Разве мужество завзятого дуэлянта есть мужество солдата? Сомнительно. На поле боя, чтобы там ни происходило, живая реакция и стремительность куда более важны, чем бессмысленное хладнокровие. Если уж на то пошло, то отказаться от дуэли требует большего мужества. Немецкий студент дерется не для собственного удовольствия, а из-за страха перед общественным мнением, которое отстало от жизни на двести лет.

Дуэль лишь ожесточает его. Говорят, что демонстрируется высокий класс фехтования, — я не замечал. Обычная дуэль нисколько не похожа на поединок на шпагах в представлении Ричардсона; зрелище в целом весьма успешно сочетает элементы комического и отвратительного. В аристократическом Бонне, где соблюдают манеры, и Гейдельберге, где чаше встречаются иностранцы, дуэль носит более благопристойный характер. Мне

рассказывали, что состязания проводятся в удобных помещениях; что седовласые врачи обслуживают раненых, а ливрейные лакеи — проголодавшихся, и вся церемония весьма живописна. В тех же университетах, где жив еще немецкий дух, где иностранцев меньше и они нежелательны, дуэль предстает во всем ее первозданном виде, и вид этот непривлекателен.

Вид настолько непривлекательный, что я советую чувствительному читателю опустить даже то описание, что я готов предложить. Тема не из приятных, да я и не старался приукрашивать.

В помещении пусто и грязно; стены заляпаны пятнами пива, крови, свечного воска; потолок закопчен; пол посыпан опилками. Зрители образуют плотное каре; студенты смеются, курят; кто сидит на стульях, кто на скамейках, а кто прямо на полу.

В центре лицом друг к другу стоят два противника, похожие на самураев, знакомых нам по японским чайным подносам. Вид у них причудлив, но суров; шея обмотана толстым шарфом; на глазах — защитные очки; тело закутано в какое-то грязное одеяло; рукава подбиты ватой, руки вытянуты над головой; они похожи на пару мрачных заводных игрушек. Секунданты, тоже более или менее защищенные — на головах у них огромные кожаные шлемы, — разводят их по позициям. Кажется, что слышно, как скрипят шарниры. Судья занимает свое место, дает сигнал, и тут же следует пять ударов длинных шпаг друг о друга. Смотреть схватку неинтересно: ни движения, ни мастерства, ни изящества (я говорю о своем впечатлении). Побеждает тот, кто физически сильнее, кто дольше сможет нападать и защищаться: попробуйте-ка рукой в ватном рукаве, стоя в неестественной позе, помахать длиннющей шпагой!

Наибольший интерес вызывают раны. Они бывают в двух местах — на макушке и с левой стороны лица. Случается, что кусочек скальпа или часть щеки отлетает в сторону, и его гордый обладатель — или, правильнее сказать, бывший обладатель — прячет это в конверт, чтобы потом показывать участникам дружеской пирушки; из ран, конечно же, потоком хлещет кровь. Она брызжет на врачей, секундантов и зрителей; она попадает на стены и потолок; она заливает фехтовальщиков и образует лужи на полу. В конце каждого раунда на арену спешат врачи; руками, уже испачканными кровью, зажимают зияющие раны и затыкают их комьями ваты, которую подает им лакей, загодя разложив на подносе. Естественно, стоит раненому встать и продолжать работу, как кровь опять начинает хлестать, заливая глаза и делая почву под ногами скользкой. То и дело вы замечаете, что фехтовальщик вдруг начинает скалиться, и до конца дуэли одной половине зрителей кажется, что он все время ухмыляется, тогда как вторая половина отмечает необычайную серьезность выражения его лица. Иногда у него отрубают кончик носа, что придает ему высокомерный вид.

Так как целью каждого студента является выйти из университета с максимально возможным количеством шрамов, то не думаю, что они предпринимают какие-либо попытки защищаться, хотя бы те, что допускаются при такой манере фехтования. Настоящий победитель тот, кто получил в поединке больше ран; тот, кто, иссеченный и исколотый до такой степени, что в нем уже трудно признать человека, сможет пройтись по улицам, вызывая зависть немецких юношей и восхищение немецких девушек. Тот же, кому удалось получить лишь несколько жалких царапин, покидает поле боя в тоске и печали.

Но сам поединок — лишь начало потехи. Второй акт развертывается в перевязочной. Врачи, как правило, — всего лишь студенты-медики, желающие попрактиковаться. Справедливости ради должен отметить, что те, с кем мне приходилось общаться, оказались, несмотря на грубость манер, людьми, влюбленными в свое дело. Грубость не может быть поставлена им в вину. Она — часть воспитательной системы, в которой врачу отводятся карающие функции, и идеалисту-медику здесь делать нечего. То, как студент переносит перевязку, не менее важно, чем то, как он получил ранение. Любая операция совершается с предельной жестокостью, и его товарищи следят за тем, чтобы во время всех процедур с лица его не сходило выражение спокойствия и довольства. Все участники мечтают об аккуратной

обширной ране. Ее специально зашивают кое-как в надежде, что шрам останется на всю жизнь. Такая рана, если ее с умом бередить и не лечить еще неделю, гарантирует, как считается, ее счастливому обладателю жену с приданым, оцениваемым, по крайней мере, пятизначным числом.

Есть обычные дуэли, которые устраиваются раз в две недели; в таких средний студент участвует раз двенадцать в год. Есть другие, на которые зрители не допускаются. Если публике показалось, что студент смалодушничал, невольно уклонившись от удара, репутацию можно восстановить, лишь представ перед лучшим фехтовальщиком корпорации. Он требует для себя не состязания, а наказания, что ему и предоставляют. И его противник начинает во множестве наносить ему кровавые раны в те места, куда можно попасть. Цель жертвы — доказать своим товарищам, что он может стоять не двигаясь, пусть даже с его черепа откромсана чуть не вся живая плоть.

Можно ли сказать что-нибудь в пользу дуэли — не уверен; а если и можно, то это будет касаться лишь двух фехтовальщиков. Зрителям она должна приносить и, я в этом уверен, приносит один лишь вред. Я знаю себя достаточно хорошо и могу сказать, что особой кровожадностью не отличаюсь. Кровопролитие действует на меня, как и на всех. Сначала, пока рубка еще не началась, я испытывал лишь любопытство, смешанное с легким чувством тревоги за свое самочувствие, хотя некоторое знакомство с прозекторскими и операционными не оставляло у меня ни малейшего сомнения на этот счет. Когда полилась кровь и стали обнажаться нервы и мышцы, я начал испытывать отвращение, смешанное с жалостью. Но на второй дуэли, вынужден признаться, мои возвышенные чувства стали улетучиваться, а в разгар третьей, когда помещение наполнилось тяжелым запахом горячей крови, я понял, что становлюсь кровожадным.

Мне было мало. Я вглядывался в лица своих соседей и находил в них явное выражение того же чувства. Если посчитать кровожадность достоинством современного человека, то лучшего средства для его воспитания, чем дуэль, не найти. Но достоинство ли это? Мы можем пустословить по поводу нашей цивилизованности и гуманности, но те из нас, кто не дошел в лицемерии до самообмана, знают, что под нашими крахмальными манишками прячется дикарь со всеми его дикарскими инстинктами. Случается, он бывает и нужен, но не следует бояться, что он умрет. И крайне неразумно перекармливать его.

В пользу дуэли, если говорить серьезно, можно выдвинуть много доводов. Но никакой благой цели она не преследует. Это ребячество, и то, что эта игра — жестокая и беспощадная, не делает ее менее ребяческой. Раны сами по себе не являются знаком доблести: важно, за что они получены, а не какого размера. Вильгельм Телль по праву считается героем; но что можно сказать о клубе отцов, члены которого постановили собираться два раза в неделю и сбивать из арбалетов яблоки с голов своих сыновей? Тех результатов, которыми так гордятся молодые немецкие рыцари, они могли добиться, дразня дикую кошку! Вступить в общество исключительно для того, чтобы тебя изрубили вдоль и поперек, значит низвести себя до интеллектуального уровня танцующего дервиша. Путешественники рассказывают, что в Центральной Африке есть дикари, которые на празднествах выражают свои чувства тем, что прыгают и хлещут друг друга. Европе нет нужды подражать им. По сути дела, студенческая дуэль — сведение к абсурду рыцарского поединка; и если сами немцы не видят, что это смешно, их стоит только пожалеть за отсутствие чувства юмора.

Но если можно не соглашаться с общественным мнением, поддерживающим и одобряющим дуэли, то ее сторонников, по крайней мере, можно понять. Университетский же устав, если не поощряющий, то, по крайней мере, узаконивающий пьянство, не поддается никакому разумению. Не все немецкие студенты напиваются; более того, большинство — трезвенники и трудяги; но меньшинство же, претендующее на то, чтобы считаться типичным представителем студенчества, каковым его и считают, не просыхают с полудня до утра, умудряясь при этом пребывать в полном сознании, — умение, достигаемое большими

стараниями. Не на всех это действует одинаково, но в каждом университетском городе вы запросто встретите молодого человека, которому не исполнилось и двадцати, но уже успевшего приобрести сложение Фальстафа и цвет лица рубенсовского Бахуса. То, что немецкая девушка может быть пленена изрезанным и израненным лицом, как будто сделанным из какого-то непонятного материала, из какого лиц не делают, — доказанный факт. Но вряд ли ее привлечет опухшее, в пятнах лицо и огромное брюхо, разросшееся до такой степени, что грозит опрокинуть своего владельца. А что еще можно ждать, когда юнец начинает дуть пиво в десять утра (Friihschoppen)[24] и кончает Kneipe[25] в четыре ночи?

Kneipe — это то, что у нас называется холостяцкой пирушкой; она может быть безобидной, а может кончиться и скандалом — все зависит от участников. Какой-нибудь студент приглашает своих однокашников — их может оказаться и десять, и сто — в кафе и угощает их пивом и дешевыми сигарами в количестве, которое они определяют сами, исходя из возможностей и потребностей своего организма; может оказаться так, что угощает сама корпорация. Здесь, как и везде, вы наблюдаете немецкую любовь к дисциплине и порядку. Когда ктонибудь входит, все сидящие за столом вскакивают и по стойке смирно приветствуют его. Когда все собираются, каждый стол выбирает распорядителя, в чьи обязанности входит называть номера песен. Отпечатанные песенники — один на двоих — разложены на столе. Распорядитель называет номер двадцать пять. «Первый куплет!» — кричит он, и все поехали петь первый куплет, держа перед собой одну книжицу на двоих, как держат молитвенник во время церковной службы. В конце каждого куплета все замолкают и ждут, когда распорядитель предложит петь дальше. Так как каждого немца учили петь и у большинства — приятный голос, то общий эффект — потрясающий.

По манере пение напоминает церковное, но слова песен несколько отличаются от библейских псалмов. Но будь то патриотический гимн, сентиментальная баллада или песенка, содержание которой способно шокировать среднего английского юношу, — исполняются они с гробовой серьезностью, без смеха, без единой фальшивой нотки. В конце ведущий кричит: «Прозит!» Все отвечают ему: «Прозит!» — и тут же осушают стаканы. Пианист встает и кланяется, все встают и кланяются ему в ответ; появляется Fraulein и наполняет стаканы.

В перерыве между песнями произносятся тосты, на них отвечают; но живости мало, и еще меньше смеха. Среди немецких студентов более принято улыбаться и важно кивать в знак одобрения.

Специальный тост, под названием «Саламандра», поднимаемый в честь особо почетного гостя, пьется с исключительной торжественностью.

— А сейчас, — говорит распорядитель, — мы будем «тереть саламандру».[26] — Мы все вскакиваем и стоим, как полк по стойке смирно.

— У всех налито?[27] — спрашивает ведущий.

— Так точно! — отвечаем мы, как один человек.

— Ad exercitium Salamandri![28] — говорит распорядитель, и мы готовимся.

— Eins! — круговыми движениями мы трем наши кружки о стол.

— Zwei! — опять гремят кружки, как, впрочем, и на счет «Drei».[29]

— Пьем![30]

Все одновременно, секунда в секунду, мы осушаем кружки и держим их на весу.

— Eins! — говорит ведущий. Дно пустой кружки кругами ходит по столу, и получается звук, похожий на шум прибоя.

— Zwei! — Звук сначала нарастает, затем затихает.

— Drei! — В едином порыве все ударяют кружками о стол и садятся.

Любимое развлечение во время Kneipe — это когда двое студентов начинают оскорблять друг друга (в шутку, конечно), а затем вызывают друг друга на пьяную дуэль. Назначается

судья, наполняются две огромные кружки, противники садятся друг против друга, сжимая ручку кружки; все глаза устремлены на них. Судья дает сигнал, и тут же они начинают лить пиво себе в глотку. Побеждает тот, кто первым стукнет по столу опустошенной кружкой.

Тем иностранцам, которые хотят продержаться до конца Kneipe, не отставая при этом от своих немецких друзей, рекомендую до начала мероприятия нацепить на пиджак карточку с указанием своего имени и адреса. Немецкий студент — сама любезность и уж позаботится, в каком бы состоянии сам ни находился, чтобы его гость в целости и сохранности к утру добрался до дома. Но ожидать, что он запомнит адрес, — уж слишком.

Мне рассказывали о трех гостях одной берлинской Kneipe, историю, которая могла бы кончиться трагически. Иностранцы решили строго соблюдать все правила. Свои намерения они довели до сведения окружающих, что было встречено аплодисментами; затем они взяли каждый по кусочку картона, написали свой адрес и прикололи перед собой к скатерти. В том-то и была их ошибка. Им следовало бы, как я уже советовал, покрепче приколоть карточки к пиджаку. Ведь вы можете пересесть, забывшись, перебраться на другую сторону стола, но куда бы вы ни подевались, пиджак всегда при вас.

Где-то уже после полуночи распорядитель предложил для удобства тех, кто еще мог держаться, отослать домой всех господ, кто уже не в состоянии оторвать голову от стола. Среди тех, кто утерял всякий интерес к происходящему, оказались и три наших англичанина. Было решено отправить их на извозчике под присмотром одного не совсем пьяного студента. Сиди они за столом смирно, все бы обошлось, но беда в том, что они беспрестанно пересаживались, и где чья карточка — сказать никто не мог, в том числе и сами гости. В разгар веселья этому как-то не придали особого значения. Было три англичанина и три карточки. Я полагаю, что рассудили так: если что выйдет и не ладно, наутро джентльмены сами разберутся. Так или иначе англичан запихали в экипаж, не совсем пьяному студенту вручили три карточки, и друзья тронулись в путь под прощальные крики и добрые напутствия всей честной компании.

Немецкое пиво имеет одно преимущество: оно не пьянит в том смысле, как мы это понимаем. Человек не буянит, он просто устал. Ему просто не хочется разговаривать, ему хочется, чтобы его оставили в покое, хочется завалиться спать неважно куда — куда угодно.

Распорядитель направил извозчика по ближайшему адресу. Когда экипаж остановился, он, ничтоже сумняшеся, выволок на улицу джентльмена, сидящего ближе всех к дверце; нельзя сказать, что это был лучший выход из положения. Вдвоем с извозчиком они внесли тело по лестнице и позвонили в пансионат. Вышел заспанный консьерж. Они втащили свою ношу и стали думать, куда бы ее забросить. Дверь спальни оказалась открытой — чего же лучше? — и они затащили его туда. Сняв с него все, что легко снималось, они забросили тело на кровать. Проделав это, они вернулись в экипаж довольные собой.

Поехали по следующему адресу. На этот раз на их призывные клики отозвалась дама в халате и с книгой в руках. Студент взглянул на верхнюю из оставшихся двух карточек и поинтересовался, не имеет ли он удовольствия говорить с фрау X. Оказалось, что да, хотя если речь и могла идти о каком-либо удовольствии, то исключительно с его стороны. Он объяснил фрау X., что господин, спящий в данный момент у стены, является ее мужем. Особого восторга предстоящая встреча у нее не вызвала, она просто открыла дверь в спальню и удалилась. Студент с извозчиком внесли его и уложили на кровать. Сил раздевать его уже не было. Хозяйка дома больше не появлялась, и они ушли не прощаясь.

Судя по карточке, оставался еще холостяк, проживающий в отеле. Туда и поехали; занесли в холл, сдали ночному портье и расстались.

Вернемся к первому адресу, по которому был доставлен груз. Вот что там происходило за восемь часов до этого. М-р Y. сказал миссис Y:

— Я не говорил тебе, дорогая, что сегодня меня пригласили в эту, как ее, Kneipe?

— Да, что-то такое ты говорил, — ответила миссис Y. А что такое Kneipe?

— Ну, это нечто вроде холостяцкой вечеринки, дорогая. Там собираются студенты, чтобы попеть, побеседовать и э-э-э… покурить и все такое прочее.

— Что ж, хорошо. Надеюсь, что ты неплохо повеселишься, — сказала миссис Y., женщина приятная и неглупая.

— Будет очень интересно, — заметил м-р Y. — Давно меня мучило любопытство, что это такое. Я могу, — продолжал м-р Y., — я хочу сказать, что может так получиться, что я могу прийти домой поздно.

— Что ты называешь поздно? — спросила миссис Y.

— Трудно сказать, — ответил м-р Y. — Видишь ли, эти студенты такие необузданные, и когда собираются вместе… К тому же, по-моему, придется поднять немало тостов. Не знаю, как это на меня подействует. Если будет возможность уйти пораньше, я постараюсь, если никого не обижу; если же не получится…

Миссис Y., которая, как мы уже отмечали, была женщиной неглупой, сказала:

— Лучше попроси, чтобы тебе дали ключ. Я буду спать с Долли, и ты не побеспокоишь меня, когда бы ни пришел.

— По-моему, прекрасная мысль, — согласился м-р Y., — не стану тебя беспокоить. Я потихоньку войду и пройду в спальню.

Где-то поздно ночью, а правильнее, уже под утро, Долли, сестра миссис Y., села на постели и стала прислушиваться.

— Дженни, — сказала Долли, — ты не спишь?

— Нет, дорогая, — ответила миссис Y. — Все в порядке. Спи.

— Но что это может быть? — сказала Долли. — Не пожар ли?

— Я думаю, — ответила миссис Y., — это Перси. Скорее всего наткнулся на что-нибудь в потемках. Не беспокойся, дорогая, спи.

Но как только Долли опять уснула, миссис Y., которая была хорошей женой, подумала, что все-таки надо потихоньку встать и пойти посмотреть, все ли в порядке с Перси. И, накинув халат и сунув ноги в шлепанцы, она прокралась коридором в свою комнату. Чтобы разбудить джентльмена, спящего на кровати, потребовалось бы землетрясение. Она зажгла свечу и неслышно подошла к кровати.

Это был не Перси; ничего похожего на Перси. Она чувствовала, что этот человек не мог оказаться ее Перси ни в каких обстоятельствах. В сложившейся ситуации единственное чувство, которое она могла испытывать к нему, — это неприязнь. Единственное ее желание — избавиться от него.

Но что-то показалось ей в нем знакомым. Она подошла поближе и присмотрелась. Затем она вспомнила. Конечно же, это был тот джентльмен, у которого они обедали в первый день по приезде в Берлин.

Но что он здесь делает? Она поставила свечку на стол, села и, сжав голову руками, стала думать. Объяснение пришло быстро. Ведь Перси отправился на Kneipe вместе с м-ром X. М-ра X. доставили по адресу Перси. А Перси в данный момент…

На ум шли одни лишь ужасы, одна догадка казалась страшнее другой. Вернувшись в комнату Долли, она наспех оделась и тихо спустилась по лестнице. К счастью, удалось поймать ночного извозчика, и она отправилась по адресу м-ра X. Велев извозчику подождать, она взлетела наверх и настойчиво позвонила. Ей открыла все та же миссис X., все в том же халате и с той же книгой в руке.

— Миссис Y.! — воскликнула миссис X. — Что привело вас сюда?

— Мой муж! — Ничего умнее придумать бедняжка, конечно, не смогла. — Он у вас?

— Миссис Y., — ответила миссис X., гордо расправив плечи, — да как вы смеете?!

— Бога ради, поймите меня правильно, — взмолилась миссис Y. — Это ужасная ошибка. Бедного Перси вместо того, чтобы доставить домой, привезли к вам. Прошу вас, сходите в спальню и посмотрите.

— Милочка, — сказала миссис X., которая, будучи постарше, взяла покровительственный тон, — успокойтесь. Его привезли с полчаса назад, и я, признаться, даже и не взглянула на него. Он здесь. По-моему, они не побеспокоились даже снять с него ботинки. Если проявите хладнокровие, мы спустим его и доставим домой, и никто нас не увидит!

Миссис X. горела желанием помочь миссис Y. Она распахнула дверь, и миссис Y. вошла в спальню. Через секунду она вышла; лицо у нее было бледно и испугано.

— Это не Перси, — сказала она. — Что же теперь делать?

— Мне бы не хотелось, чтобы вы так ошибались, — сказала миссис X., намереваясь сама войти в спальню. Миссис Y. остановила ее.

— И это не ваш муж.

— Ерунда, — сказала миссис X.

— Нет, это так, — настаивала миссис Y. — Я знаю, потому что ваш муж остался спать на кровати Перси.

— Что он там делает? — грозно спросила миссис X.

— Его принесли и положили, — объяснила миссис Y. и заплакала. — Вот почему я подумала, что Перси должен быть у вас.

Женщины стояли и смотрели друг на друга; некоторое время стояла тишина, нарушаемая храпом джентльмена по ту сторону полуоткрытой двери.

— Так кто же это там? — настаивала миссис X., которая первая пришла в себя.

— Не знаю, — ответила миссис Y. — Я никогда его не встречала. А вы не можете его узнать?

Но миссис X. лишь захлопнула дверь.

— Что же нам делать? — сказала миссис Y.

— Что мне делать, я знаю, — ответила миссис X. — Я поеду с вами и заберу своего мужа.

— Его не добудиться, — объяснила миссис Y.

— Мне это не впервой, — ответила миссис X., застегивая пальто.

— Но где же Перси? — простонала несчастная миссис Y., когда они спускались по лестнице.

— А это, милочка, — сказала миссис X., — вы уж у него спросите.

— Если уж пошла такая карусель, — сказала миссис Y., — то просто невозможно предсказать, где он окажется.

— Мы наведем справки завтра утром, — утешила ее миссис X.

— По-моему, эти Kneipe — ужасная вещь, — сказала миссис Y. — Никогда больше, покуда жива, не пущу туда Перси.

— Дорогая, — заметила миссис X., — если вы правильно себя поставите, ему туда и не захочется.

Ходят слухи, что ему и не хочется…

Но, как я уже сказал, ошибка заключалась в том, что карточку прикололи не к пиджаку, а к скатерти. А в нашем мире за ошибки приходится платить.

Глава XIV

Глава серьезная, так как она становится прощальной. — Немцы с точки зрения англосакса. — Провидение в форменном мундире. — Рай для недееспособного идиота. — Всепобеждающая немецкая сознательность. — Как, скорее всего, вешают в Германии. — Что случается с добропорядочным немцем после смерти. — Военный инстинкт — так ли он важен? — Немец в роли лавочника. — Чем он живет. — «Новая женщина» — здесь, как и везде. — Что можно сказать против немцев как нации. — Наше путешествие закончилось

— Этой страной может управлять кто угодно, — сказал Джордж. — Даже я.

Мы сидели в саду Императорского дворца в Бонне и любовались Рейном. Был последний вечер нашего путешествия; утренний поезд должен был стать началом конца.

— Я бы написал на листке бумаги все, что должен делать народ, — продолжал Джордж, — нашел бы солидную фирму, которая отпечатала бы эти требования во множестве экземпляров, и велел бы расклеить их повсеместно; все, больше ничего не потребовалось бы.

В безропотном, законопослушном немце наших дней, который с гордостью платит налоги и делает все, что ему велят те, кого Провидение соблаговолило назначить ему в начальники, признаться, трудно найти какие-либо следы его мятежного предка, для которого личная свобода была необходима как воздух; который выбирал судей, чьи приговоры имели лишь рекомендательный характер, а право их исполнения оставлял за своим племенем; который шел за своим вождем, но никогда беспрекословно ему не подчинялся; в Германии сейчас много говорят о социализме, но это тот же деспотизм, только под другим названием. Индивидуализм не привлекает немецкого избирателя. Он не прочь, чтобы во всем его контролировали и направляли; да что это я говорю «не прочь»? Он этого страстно желает. Он может быть не согласен — нет, не с правительством, а с его формой. Полицейский для него — бог и, похоже, останется таким навсегда. В Англии мы смотрим на людей в синих мундирах как на необходимость: они нам не мешают. Для обывателя он служит главным образом дорожным указателем; есть от него кое-какой прок и в кварталах с оживленным движением: он переводит через дорогу старушек. Кроме благодарности за эти услуги, вряд ли мы питаем к нему иные чувства. В Германии же, напротив, ему поклоняются, как кумиру, и любят, как ангела-хранителя. Для немецкого ребенка он Санта-Клаус и добрый волшебник в одном лице. Все блага исходят от него: Spielplatze, где можно поиграть, покачаться на качелях и покататься на гигантских шагах; песочницы, где можно повозиться; купальни и ярмарки. За шалости он наказывает. Все послушные немецкие мальчики и девочки хотят, чтобы полицейский остался ими доволен. Если он им улыбнулся, они замирают от восторга, а потом хвастаются этим. С немецким ребенком, которого полицейский погладил по головке общаться невозможно: он нестерпимо важничает.

Немецкий обыватель — солдат, а полицейский — его командир. Полицейский указывает ему, куда и как идти. В Германии у каждого моста стоит полицейский и сообщает всем правила передвижения по мостам. Если полицейского там не окажется, значит, он сидит под мостом и следит, чтобы река не нарушала правила движения. На вокзале полицейский запирает немца в зале ожидания, чтобы тот не натворил чего-нибудь себе во вред. В нужное время он его выводит и сдает с рук на руки проводнику — тому же полицейскому, только в другой форме. Проводник указывает ему, где занять место, когда выходить, и проследит, чтобы он вышел. В Германии вы за себя не отвечаете. Все делается за вас и делается хорошо. Вы можете о себе не беспокоиться, никто вас в этом не обвинит; заботиться о вас — долг немецкого полицейского. Если вы и полный идиот, то, случись что с вами, — отвечать ему. Где бы вы ни были, что бы вы ни делали — он отвечает за вас, и он о вас заботится, и заботится хорошо — что есть, то есть.

Если вы потерялись, он вас найдет; а если вы потеряете какую-нибудь вещь — он вам ее вернет. Если вы не знаете, чего хотите, он вам укажет. Если вам хочется чего-то, что пойдет вам на пользу, он достанет. Частные адвокаты в Германии не нужны. Если вы захотите продать дом или участок, государство возьмет сделку на себя. Если вас при этом обжулили, государство возбудит дело против мошенника. Государство вас женит, страхует и даже может для развлечения сыграть с вами в карты.

«Рождайся, — говорит немецкое правительство немецкому обывателю, — а остальное мы берем на себя. Дома и на улице, когда ты работаешь и когда отдыхаешь, когда ты здоров и когда ты болен, мы укажем тебе, что делать, и проверим, как ты это сделал. Ни о чем не беспокойся».

И немец не беспокоится. Там, где он не может найти полицейского, вывешено распоряжение местного полицейского участка. Он его прочитывает, идет и делает то, что там сказано.

Я помню, как в одном немецком городе — каком, не помню, но это не важно, случай этот мог произойти в любом — я увидел открытые ворота, ведущие в сад, где должен был начаться концерт. Если бы кто-нибудь захотел проникнуть в сад через эти ворота и таким образом попасть на концерт бесплатно, ничего не могло бы ему помешать. Более того, удобней было бы войти здесь, а не тащиться за четверть мили до других ворот. Мимо проходили толпы народа, но никто не попытался попасть в сад через эти ворота. Все понуро брели под палящим солнцем к дальним воротам, где стоял служитель и взимал плату за вход. Я видел, как немецкие подростки стояли на берегу пруда и с вожделением смотрели на лед. Они давно могли бы спуститься и начать кататься — лучшего и не придумаешь: взрослые и полицейские были далеко, за полмили, к тому же за углом, так что их никто не видел. Ничто не могло удержать их, кроме одного — сознания, что этого делать нельзя. Такие происшествия заставляют всерьез задуматься: а являются ли тевтоны представителями грешного рода человеческого? Не может ли так быть, что этот послушный, покладистый народ — ангелы, сошедшие на землю, чтобы отведать кружечку пива, пить которое, как известно, можно лишь в Германии?

В Германии проселочные дороги обсажены фруктовыми деревьями. Ничто не может помешать мальчишке или взрослому остановиться и нарвать плодов — кроме сознательности. В Англии подобное положение вещей вызвало бы бурю негодования. Дети бы сотнями мерли от холеры. Медики сбились бы с ног, пытаясь справиться с естественными последствиями обжорства кислыми яблоками и зелеными орехами. Общественное мнение потребовало бы, чтобы эти деревья в целях безопасности были обнесены забором. Садоводам, пожелавшим таким образом сэкономить на заборах и оградах, не позволили бы сеять по стране болезни и смерть.

Но в Германии мальчишка будет миля за милей шагать по безлюдной дороге, обсаженной фруктовыми деревьями, чтобы в дальней деревне купить груш на пфенниг. Пройти мимо

неохраняемых деревьев, ломящихся под тяжестью спелых плодов, покажется англосаксу непростительной глупостью, идиотским нежеланием воспользоваться благостными дарами, которые тебе преподносит Судьба.

Не знаю, так ли это на самом деле, но, если судить по моим наблюдениям, в Германии человеку, осужденному на смерть, дают кусок веревки и велят повеситься. Это избавит государство от лишних хлопот и издержек; я вижу, как немецкий преступник берет этот кусок веревки, идет с ним домой, внимательно читает прилагаемую инструкцию и начинает, шаг за шагом, выполнять ее у себя на темной кухне.

Немцы — хороший народ. В целом, наверное, лучший в мире: дружелюбный, бескорыстный, добрый. Я уверен, что подавляющее большинство немцев попадают в рай. И действительно, сравнивая их с другими христианскими нациями, невольно приходишь к выводу, что рай в основном немецкого производства. Но мне непонятно, как они туда попадают. Ни за что не поверю, что душа отдельно взятого немца рискнет в одиночку пуститься в дальний перелет и наберется смелости постучать в ворота св. Петра. Я думаю, что их доставляют туда небольшими партиями под присмотром покойного полицейского.

Карлейль сказал о пруссаках — и это можно распространить на всю немецкую нацию, — что одна из их главных доблестей — способность к муштре. О немцах можно с уверенностью сказать, что этот народ пойдет в любое место, куда ему велят, и сделает все, что ему прикажут. Вымуштруйте его для работы, пошлите в Африку или Азию под присмотром начальства, и из него выйдет превосходный колонист, смело смотрящий в лицо трудностям, а если прикажут, то и дьяволу он столь же смело посмотрит в лицо. Но первопроходец из него вряд ли получится. Брошенный на произвол судьбы, он скорее всего зачахнет и погибнет, но не из-за отсутствия сметливости, а просто из-за недостатка уверенности в себе.

Немец слишком долго был солдатом, и тяга ко всему военному у него в крови. Воинской доблести у него хоть отбавляй; но военная подготовка имеет и свои недостатки. Мне рассказывали об одном немецком слуге, недавно демобилизовавшемся из армии; хозяин велел ему отнести письмо в один дом и дождаться ответа. Время шло, а слуга не возвращался. Обеспокоенный хозяин был в недоумении и отправился на поиски. Слугу нашли у дома, куда его послали; ответ он держал в руке. Он ждал дальнейших приказаний. История похожа на анекдот, но лично я верю, что так могло быть.

Удивительно, что человек безвольный, как малое дитя, стоит ему надеть мундир, становится разумным существом, способным принимать решения и проявлять инициативу. Немец может управлять, им могут управлять, но управлять собой он не способен. Каждого немца надо выучить на офицера, а затем отдать под свою же команду. Нет сомнений, он будет отдавать себе приказы, преисполненные мудрости и благорассудства, и сам же следить, чтобы они выполнялись точно и в срок.

Формирование характера немца в этом направлении возложено, конечно же, на школу. Долг немца — постоянно учиться. Это светлый идеал, к которому должен стремиться любой народ. Но не будем спешить перенимать передовой опыт, прежде посмотрим, что такое «долг». Немец понимает его как «слепое подчинение каждому, кто носит форменный мундир». Это полная противоположность представлениям англосакса; а так как и англосаксы, и тевтоны процветают, в обоих подходах есть что-то положительное. До сих пор судьба благоприятствовала немцу — им исключительно хорошо управляли; если так и дальше пойдет, то менять свои воззрения ему не придется. Все беды начнутся, когда по каким-то причинам откажет машина управления. Но, может быть, в том-то и заключается достоинство такого подхода, что он обеспечивает бесперебойные поставки хороших правителей, и скорее всего это действительно так.

Я склонен считать, что как торговец немец, если его темперамент не претерпит радикальных изменений, всегда будет позади своего англосаксонского конкурента, и виной

тому — его добродетели. Для него жизнь — нечто большее, чем просто погоня за деньгами. Страна, в которой банки и почтовые конторы закрываются днем на два часа, чтобы служащий мог сходить домой и не торопясь пообедать в кругу семьи, а на десерт еще и вздремнуть, не имеет никакой надежды, а может быть и желания, выдержать конкуренцию с нацией, которая ест стоя и спит с телефоном в изголовье. В Германии нет или, по крайней мере, пока нет заметного классового расслоения общества, и жизнь не превратилась в смертельную схватку за место под солнцем, как это наблюдается в Англии.

За исключением круга земельной аристократии, куда пробиться невозможно, со званием считаются мало. Фрау Профессорша и фрау Слесарша каждую неделю встречаются в кафе за одним столиком и делятся сплетнями на основе взаимного равенства. Ливрейный конюх и врач чокаются кружками в своей любимой пивной. Преуспевающий строительный подрядчик, снарядив для загородной поездки вместительный фургон, приглашает с собой своего десятника и портного с семьями. Каждый вносит свою долю выпивки и закуски, и все они, возвращаясь домой, поют хором одни песни. Пока такое положение вещей не изменится, никто не станет тратить лучшие годы жизни на то, чтобы сколотить состояние для обеспечения своей маразматической старости. Его вкусы, а чтобы быть точнее, вкусы его жены — непритязательны. Он любит, чтобы стены его комнаты были обиты красным плюшем; он любит, чтобы было много позолоты и лака. Но так уж ему нравится, и не думаю, что это большая безвкусица, чем помесь незаконнорожденных потомков елизаветинской эпохи с самозванцами эпохи Людовика XIV, и все это залито электрическим светом и заляпано фотографиями. Случается, он приглашает местного живописца для росписи фасада, и на свет Божий является кровавая битва, многие эпизоды которой помешала изобразить входная дверь, вобравшая значительную часть нижнего пространства, а у окон спальни, подобно ангелу, вьется Бисмарк. Но он весьма охотно ходит в картинные галереи полюбоваться своими старыми мастерами, а так как, что такое «гордость домашней коллекции», в «Фатерланде» еще не знают, он не расположен сорить деньгами, превращая свой дом в антикварную лавку.

Немец — любитель поесть. В Англии еще попадаются фермеры, которые, приговаривая, что на деревенских харчах с голоду не помрешь, едят семь раз на дню, и весьма плотно. В России раз в год устраивается недельное пиршество, и многие умирают, объевшись блинами; но это религиозный обряд и исключение. Если же взять правило, то немец как едок ушел от всех других народов мира. Он встает рано и, пока одевается, успевает перехватить несколько чашек кофе с полудюжиной горячих булочек с маслом. Но лишь в десять утра выпадает ему возможность спокойно сесть и поесть как следует. В час или в половине второго — главная трапеза, обед. К этому делу подходят серьезно и не вылезают из-за стола часа два. В четыре он идет в кафе, где ест пирожные и пьет шоколад. Весь вечер он занят главным образом тем, что ест — не капитально, сидя за столом, а беспрерывно закусывая: бутылочка пива и парочка belegte Semmel[31] часов этак в семь; еще бутылочка пива и Aufschnitt[32] в антракте в театре; Spiegeleier[33] перед возвращением домой; затем кусочек колбаски или сыра, конечно же с пивом, на сон грядущий.

Но он не гурман. Редко вы найдете в немецких ресторанах французскую кухню и французские цены. Свое пиво или недорогое белое вино местных сортов он предпочитает дорогим кларетам и шампанским. И, признаться, правильно делает: можно представить, какое мстительное чувство вспыхивает в душе разбитого при Седане француза, когда он отправляет в немецкий ресторан или отель бутылку-другую вина. Эта глупая месть — немцы его, как правило, не пьют; кара падает на головы безвинных английских туристов. Тем не менее не исключено, что французский виноторговец не забыл и Ватерлоо, так что может считать, что наконец-то поквитались.

В Германии вам не предложат дорогих удовольствий, да их и не ищут. Все в «Фатерланде» по-простому и по-домашнему. В Германии нет дорогих развлечений, за которые надо платить; здесь не принято пускать пыль в глаза, что у нас стоит недешево; нет круга кичащихся

богатством людей, для которых надо одеваться. Самое главное удовольствие — место в опере или в концерте — обходится человеку в несколько марок, а его жена и дочери ходят туда в домашних платьях, повязав голову платком. Что и говорить, отсутствие всякого желания блеснуть действует на англичанина отрезвляюще. Собственный выезд — редкость и встречается нечасто, и даже извозчика нанимают тогда, когда нельзя добраться на электрическом трамвае, который и быстрее, и чище.

Так немец сохраняет свою независимость. В Германии лавочник не лебезит перед покупателем. В Мюнхене мне довелось сопровождать одну английскую даму в ее походе по магазинам. Она привыкла делать покупки в Лондоне и Нью-Йорке и хаяла все, что ей показывали. Это не значит, что она и на самом деле была недовольна товаром, — такой уж был метод. Она уверяла, что в других магазинах такую же вещь, но лучшего качества можно купить куда дешевле; не то чтобы она думала, что это действительно возможно, просто она считала, что с продавцами нужно разговаривать только так. Она сказала, что товар безвкусен, — обижать хозяина она не хотела, такой уж был ее метод; что выбор беден; что это не модно; что это не оригинально; что все это до первой стирки. Хозяин с ней не спорил; возражать он ей не стал. Он заново рассортировал товар по коробочкам, коробочки расставил по полочкам, прошел в служебное помещение и закрыл за собой дверь.

— Он собирается возвращаться? — по прошествии двух минут спросила дама.

Ее тон выражал не столько вопрос, сколько нетерпение.

— Боюсь, что нет, — ответил я.

— Это еще почему? — спросила ошарашенная дама.

— Думаю, — ответил я, — вы ему надоели. Гарантирую вам, что в данный момент он находится вот за той дверью, курит трубку и читает газету.

— Какой-то ненормальный лавочник! — сказала моя приятельница, собрала свои пакеты и с возмущенным видом вышла на улицу.

— Все они здесь такие, — объяснил я. — Вот товар; нужен вам — берите. Не нужен — нечего ходить и морочить голову.

В другой раз в курительной комнате немецкого отеля я услышал, как какой-то низенький англичанин рассказывал историю, которую я бы на его месте рассказывать постеснялся.

— Бессмысленное занятие, — сказал коротенький англичанин, — даже пытаться торговаться с немцем. Похоже, они не понимают, что это такое. В магазине на Георгплац я увидел первое издание «Разбойников». Я вошел и спросил цену. Он ответил: «Двадцать пять марок», — и продолжал читать. Я, как и полагается, когда хочешь сторговаться, сказал ему, что несколько дней тому назад видел экземпляр в лучшем состоянии и всего лишь за двадцать марок. Он спросил меня: «Где?» Я сказал, что в Лейпциге. Он посоветовал мне вернуться в Лейпциг и купить его; было не похоже, чтобы его волновало, куплю я книгу или нет. «Так какая же настоящая цена?» — не отступал я. «Я уже говорил вам, — бубнил он свое, — двадцать пять марок». — Раздражительный такой попался тип. «Столько я вам за нее не дам», — не соглашался я. «А я вас и не прошу», — взвился он. Я решил уступить: «Могу дать за нее десять марок». Я думал, он сбавит цену до двадцати. Он встал. Я уж подумал, что сейчас он пройдет за прилавок и достанет мне книгу. Не тут-то было, он подошел ко мне. Этакий громила. Он взял меня за плечи, вывел на улицу и с грохотом захлопнул за мной дверь. Ничего удивительнее в жизни своей не видел.

— А может, книга стоила двадцать пять марок? — высказал предположение я.

— Конечно, стоила, — ответил он, — даже дороже. Не разве так делают?

Если что и изменит характер немца, то это будет немка. Сама она быстро меняется — прогрессирует, как бы мы сказали. Десять лет назад ни одна немка, дорожащая своей репутацией и надеющаяся выйти замуж, не рискнула бы прокатиться на велосипеде; сегодня

же они тысячами колесят по стране. Старики укоризненно качают головами, но молодежь, как я заметил, устремляется в погоню и пристраивается рядом. До недавнего времени в Германии считалось неприличным для женщины кататься по внешнему кругу катка. Считалось, что ее конькобежные умения должны сводиться к умению ковылять, придерживаясь за кого-нибудь из родственников-мужчин. Теперь же она выписывает восьмерки где-нибудь углу одна, пока к ней на помощь не подкатит какой-нибудь молодой человек. Она играет в теннис, и я даже видел — о чем спешу предупредить читателя, — как она управляет двуколкой.

Немка всегда была блестяще образованна. В восемнадцать она говорит на двух-трех иностранных языках и уже успевает забыть больше, чем средняя англичанка прочтет за всю свою жизнь. С этого возраста дальнейшее образование становится совершенно бесполезным. Выйдя замуж, она удаляется на кухню и спешит прочистить мозги, не обременяя свою память всем, что не связано с кулинарией дурного качества. Но давайте представим: она начинает понимать, что женщина не должна жертвовать всем своим бытием ради домашней рутины, равно как и мужчина не должен стремиться стать всего лишь машиной для проворачивания дел. Давайте представим: в ней проснулось честолюбивое желание поучаствовать в общественной и государственной жизни. Вот тогда-то и скажется на немце влияние его супруги, женщины здоровой телом, а потому и крепкой духом, и обязательно это влияние будет сильным и всесторонним.

Ибо следует себе уяснить, что немец исключительно сентиментален и крайне легко поддается женскому влиянию. Говорят, что немец — великолепный влюбленный и никудышный муж. Виновата в этом женщина. Выйдя замуж, немка не просто расстается с романтикой; она берет скалку и гонит ее со двора. Девушкой она ничего не смыслила в нарядах; став же женой, она сдирает даже те бывшие на ней платья, которые условно можно было бы назвать нарядами, и драпируется в какие-то тряпки, которые случайно оказались дома, — так, по крайней мере, кажется со стороны. Неуклонно и целенаправленно она начинает портить свою фигуру, подобно фигуре Юноны, и цвет лица, которому позавидовал бы иной ангел. Она продает свое первородное право на восхищение и преданность поклонников за горстку сластей. Каждый день в кафе можно видеть, как она набивает свою утробу пирожными с жирным кремом, заливая их обильными дозами шоколада. Вскоре она становится толстой, рыхлой, вялой и абсолютно непривлекательной.

Когда немка бросит пить днем кофе, а вечером — пиво, когда она займется гимнастикой для восстановления утраченных форм, когда, выйдя замуж, перестанет ограничивать круг своего чтения поваренной книгой, вот тогда-то немецкое правительство и столкнется с новой и неведомой силой, с которой придется считаться. А по всей Германии уже заметны признаки того, что старые немецкие фрау уступают место новым дамам.

Когда задумываешься о том, что же тогда будет, начинаешь испытывать любопытство. Ибо немецкая нация еще очень молода и ее созревание важно для мира. Это добрый народ, любящий народ, и он может помочь сделать мир лучше.

Самое плохое, что можно сказать про них, — это то, что у них есть недостатки. Сами они этого не знают, они считают себя совершенными, что очень глупо с их стороны. Они заходят так далеко, что мнят себя выше англосакса, это уму непостижимо. Но, похоже, они так шутят.

— У них есть свои плюсы, — сказал Джордж, — но их табак — позор нации. Я пошел спать.

Мы поднялись и, облокотившись на низкий каменный парапет, смотрели, как в темноте над тихой рекой пляшут огоньки.

— В целом, наш Bummel оказался очень приятным, — сказал Гаррис. — Возвращаюсь я с радостью, но в то же время жаль, что он подошел к концу. Надеюсь, вы меня поняли.

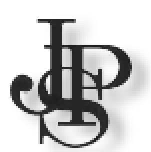
— А что такое Bummel? — сказал Джордж. — Как ты это переведешь?

— Bummel, — пояснил я, — это нечто вроде прогулки, длинной или короткой, не имеющей конца; единственное, что здесь требуется, — это вернуться в заданное время в ту точку, с

которой начал. Иногда маршрут проходит через оживленные улицы, а иногда — через поля и закоулки; иногда у тебя уходит несколько часов, а иногда — несколько дней. Но долог ли наш путь или короток, здесь мы или там, мы всегда помним, что в часах бежит песок. Нам многие попадаются на пути: одним мы кивнем и улыбнемся, с другими остановимся поболтать, с третьими пройдем часть пути. Нам бывает очень интересно, частенько мы устаем. Но в конце пути мы понимаем, что славно провели время, и нам жаль, что все кончилось.



The original «Three Men» — from left to right Carl Hentschel (Harris), George Wingrave (George) and Jerome K. Jerome (J).



Примечания

1

Не кипятитесь (нем.).

2

Боже мой! (нем.).

3

Бутерброд (нем.).

4

Имеется в виду стихотворение Р. Саути «Как вода пришла в Ладор», описывающее весеннее половодье.

5

Цвингер — архитектурный комплекс в стиле барокко, местонахождение Дрезденской картинной галереи; от нем. Zwinger — букв. клетка для зверей.

6

Задняя площадка трамвая (нем.).

7

Улица в Лондоне, где помещаются резиденция премьер-министра и Министерство иностранных дел.

8

Так-так (нем.).

9

Очевидно, автор имеет в виду кириллицу. Чешский алфавит создан на базе латиницы и имеет двадцать пять букв.

10

Глупый осел (нем.).

11

«Критерион» — лондонский театр.

12

«С собаками вход воспрещен» (нем.).

13

«Выход» (нем.).

14

Большой сад (нем.).

15

«Только для пешеходов» (нем).

16

«Nur fur Erwachsene!»

17

Spielplatze — Площадка для игр, детская площадка (нем.).

18

Керосиновые фонари опускались для заправки, тушения или зажигания.

19

Здесь: черт побери! (нем.).

20

Уида — литературный псевдоним Марии Луизы де ла Раме (1839–1908), английской романистки, автора авантюрно-сентиментальных романов.

21

Трактир, заведение (нем.).

22

Столовое вино (нем.).

23

Род сливы.

24

Утренняя кружка (нем.).

25

Попойка, кутеж (нем.).

26

Einen Salamander reiben

27

Sind die Stofie parat?

28

К исполнению саламандры приготовиться! (лат.).

29

Раз! Два! Три! (нем.).

30

Bibite!

31

Бутерброд (нем.).

32

Закуска (нем.).

34

Сильфида, (от греч. silphe - моль, мотылек). — Об изящной, с легкой фигурой…
